

Любовник леди Чаттерли

Автор:

Дэвид Лоуренс

Любовник леди Чаттерли

Дэвид Герберт Лоуренс

Шедевры мировой классики (Клуб семейного досуга)

Дэвид Герберт Лоуренс – один из наиболее читаемых английских писателей. Его романы и по сей день пользуются огромной популярностью в Европе. «Любовник леди Чаттерли» признан лучшим произведением Лоуренса. Это произведение стало классикой англоязычной литературы XX века и принесло автору ошеломительный успех. До всемирного признания роман был запрещен на протяжении более 30 лет, потому что его сюжет стал вызовом обществу и нравственности. Лишь в 1960 году «Любовник леди Чаттерли» был реабилитирован и полностью восстановлен в правах.

Констанция Чаттерли красива и молода. Она похожа на нежную утреннюю зарю. Но красота не принесла счастья. Ее муж вернулся с войны инвалидом и теперь обречен на мучительное существование. Женщина изнывает без любви и ласки, ее сердце и тело жаждут пылких чувств. Случайная встреча Констанции с егерем ее мужа открывает перед ней дверь в мир страсти и наслаждения. Между тайными любовниками завязывается роман. Но со временем Констанция понимает, что к грубому егерю ее влечет не только плотское желание. Она по-настоящему влюбилась в этого мужчину. Но разве могут быть вместе простой лесник и благородная леди?..

В оформлении обложки использован фрагмент картины О. Ренуара «В саду», 1885

Дэвид Герберт Лоуренс

Любовник леди Чаттерли

© Багров И., Литвинова М., перевод на русский язык, 2018

© Hemiro Ltd, издание на русском языке, 2018

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2018

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2018

Глава 1

В столь горькое время выпало нам жить, что мы тщимся не замечать эту горечь. Приходит беда, рушит нашу жизнь, а мы сразу же прямо на руинах наново торим тропки к надежде. Тяжкий это труд. Впереди – рытвины да преграды. Мы их либо обходим, либо с грехом пополам берем приступом. Но какие бы невзгоды ни обрушивались, жизнь идет своим чередом.

Так примерно рассуждала Констанция Чаттерли. Война в пух и прах разбила ее благополучие. Что ж, дорого приходится платить за уроки житейской мудрости.

Констанция вышла замуж за Клиффорда Чаттерли в 1917 году, – его в ту пору отпустили из армии домой на побывку. Промелькнул медовый месяц, и Клиффорд уехал обратно во Фландрию. А через полгода его, израненного, едва живого, привезли домой. Констанции исполнилось двадцать три года, Клиффорду – двадцать девять.

Он отчаянно боролся со смертью, явив завидную волю, и мало-помалу шел на поправку. Два года колдовали над ним врачи и вернули его к жизни, прописав, правда, разные снадобья. Но ниже пояса тело Клиффорда так и осталось недвижимым.

Шел 1920 год. Клиффорд и Констанция обосновались в родовом гнезде Чаттерли – усадьбе Рагби. Старый баронет уже умер, сын унаследовал титул, его стали величать «сэр Клиффорд», а Констанцию – «леди Чаттерли». Семейную жизнь им пришлось начинать в довольно запустелом доме на довольно скромные средства. Из близкой родни у Клиффорда осталась лишь старшая сестра, да и та жила отдельно. Старший брат погиб на войне. Клиффорд знал, что детей у него не будет и что род Чаттерли просуществует до той поры, покуда жив он сам и его усадьба в закопченном и задымленном сердце Англии.

Увечье не столь удручало его. Передвигаться он мог на кресле-каталке и заказал себе кресло на колесах, с моторчиком. Неспешно объезжал он сад и чудесный печальный парк. Втайне Клиффорд гордился им, на людях же упоминал с небрежением.

Клиффорд так настрадался, что почти избыл самое способность страдать. По-прежнему держался чуть сдержанно, по-прежнему в голубых дерзких глазах светился ум, по-прежнему на румянном лице играла бодрая, если не сказать веселая, улыбка, по-прежнему широки плечи и крепки руки. Одежду он носил самую дорогую, галстуки – самые красивые и модные. И все же читалась в лице настороженность, а во взгляде порой сквозила и отрешенность, присущая калекам.

Заглянув в лицо смерти, он теперь принимал жизнь (точнее, то, что ему осталось) как бесценный и чудесный дар. Да, он выстоял, вынес все тяготы и гордился собою – это сквозило во взгляде умных беспокойных глаз. Но слишком тяжел был удар – что-то надломилось у него в душе, какие-то чувства безвозвратно исчезли. Опустошенность и безразличие легли на сердце.

У его жены Констанции были мягкие каштановые волосы, румяное простодушное, как у деревенской девушки, лицо, крепкое тело. Движения обманчиво плавны и неспешны – не угадать недюжинной внутренней силы. Большие, будто вечно вопрошающие глаза, тихий, мягкий говорок – ни дать ни взять только что из соседней деревушки заявила. Но внешность обманчива. Ее отец – некогда известный художник, почтенный сэр Малькольм Рид. Мать – женщина образованная, сторонница фабианства в политике[1 - Фабианство – движение в общественной жизни Великобритании, пропагандировавшее реформистский путь к социализму; получило свое название в результате основания в 1884 году Фабианского общества, обязанного своим именем римскому полководцу Фабию Максиму Кунктатору (Медлительному); в разное

время к идеологии фабианства склонялись такие представители английской культуры, как Джордж Бернард Шоу (1856–1950), Оскар Уайльд (1844–1900), Бертран Рассел (1872–1970). (Здесь и далее – прим. сост.)], возвращенная на традициях Возрождения в искусстве, столь пышно расцветших в середине прошлого века[2 - Имеется в виду группа «Прерафаэлитское братство» – направление в английской поэзии и живописи во второй половине XIX века, образовавшееся в начале 1850-х годов. Название «прерафаэлиты» должно было обозначать духовное родство с флорентийскими художниками эпохи раннего Возрождения.]. В кругу художников и просвещенных социалистов Констанция и ее сестра Хильда воспитывались, можно сказать, в современной эстетической атмосфере, без мещанских условностей и предрассудков. Девочек возили в Париж, Флоренцию, Рим – надышаться подлинным искусством; в Гаагу и Берлин – на съезды социалистов; на каких только языках там не произносились речи! Но это отнюдь не смущало присутствующих.

Итак, сизмальства окунувшись в сферы высокого искусства и теории справедливого жизнеустройства, девочки ничуть не тушевались, чувствовали себя в родной стихии. Столичный лоск в них прекрасно уживался с ограниченностью провинциалок. И как хорошо сочеталось их простодушное суждение о мировом искусстве с высокими идеалами справедливого общества!

Лет пятнадцати их послали в Дрезден. Там, помимо всего прочего, им предстояло приобщиться к миру музыки. Время они провели замечательно. Жили в студенческой среде. Жарко спорили с юношами о философии, общественной жизни, искусстве и ни в чем не уступали сильному полу, пожалуй, даже превосходили: как-никак они женщины! Ходили в походы по лесам, и у ладных их спутников непременно оказывались гитары. Сколько песен они перепели, наслаждаясь свободой. Свобода! Какое великое слово! Перед ними распахнут весь мир, их привечают предрассветные леса, рядом – здоровые молодые парни. Делай что хочешь, говори (это еще важнее!) что хочешь! Ведь разговоры, страстные споры, обмен мнениями – главное! А любовь – нечто второстепенное.

К восемнадцати годам и Хильда, и Констанция уже познали мужчин. Конечно же, их спутники, с которыми они так неистово спорили, так ладно пели, ночевали под раскидистыми деревьями, добивались близости с девушками. И те, поколебавшись, уступили. Ведь о половой жизни столько говорят. Значит, это и впрямь нечто важное. Да и мальчишки ведут себя достойно, сдерживая страсть. Так почему же девушке не проявить воистину царскую щедрость и не одарить

поклонника своим телом?

И девушки одарили, выбрав наиболее остроумных и задушевных собеседников. Ведь самое приятное, самое главное – в беседах. А в постели – жалкое подобие приятного, пожалуй даже разочарование. И девушки сначала охладели к приятелям, потом появилась неприязнь: будто парни посягнули на нечто сокровенное, на внутреннюю девичью свободу. Ибо в чем суть и смысл девичества, в чем его достоинство? Достичь полной, безоговорочной, беспорочной и благородной свободы! В чем еще смысл девичьей жизни? Решительно избавиться от стародавних постыдных оков.

И как бы ни приукрашивали все прелести половой жизни, именно они суть древнейшие оковы, орудия постыднейшего рабства. И воспевали их в основном поэты-мужчины. Женщины-то исстари понимали, что есть на свете ценности поважнее, поблагороднее. И наш век не раз это подтвердил. Свобода, чистая, прекрасная свобода несравнимо выше и чудесней любви плотской. Только вот беда: не доросли еще мужчины «прекрасного пола, не открыли для себя истины. Настоящие кобели – им бы только плоть свою потешить.

И приходится женщине уступать. Но мужчина, что дитя малое, меры не знает. И приходится женщине его ублажать. Не дай бог, разобидится милый и упорхнет, порушится приятное знакомство. Но женщина научилась уступать мужчине, не жертвуя и толикой своей внутренней свободы. Этого-то и недоглядели поэты и говоруны-сладоэротисты. Женщина может овладеть мужчиной и не подпасть в свою очередь под его власть. А овладеть им ей поможет плоть. Главное – поначалу чуть сдерживаться в постели, пусть мужчина утолит жажду. А когда он получит свое, время и женщине подумать об удовольствии – мужчина далее лишь игрушка в ее руках!

Едва сестры вкусили от плотских радостей, как грянула война и их спешно отправили домой. Истинной любви девушки так и не познали, для этого потребовалось бы очень близко сойтись со спутниками в разговоре. Точнее, лишь в беседе мог гнездиться как глубокий интерес, так и большое чувство. Сколько удивительного, упоительного трепета (кто бы мог подумать!) таилось в жарких, бесконечных – днями напролет – спорах с тем или иным по-настоящему умным парнем. И день бежал за днем, месяц проплывал за месяцем. Непередаваемое, неземное блаженство! Добавив к прародительскому завету «И да прилепится жена к мужу» концовку – дабы беседовать с ним», девушки хотя и не произнесли его вслух, даже толком не осмыслили, тем не менее жили

строго по нему.

И уж коль скоро пылкие, предельно доверительные и душепросветительные беседы разбудили плоть, что ж, пусть все идет своим чередом. Заполнится, так сказать, еще одна страничка жизни. И в ней есть своя прелесть. Ни с чем не сравнить волнами накатывающий трепет. И вот – девятый вал – извержение! Точно восклицательный знак в конце фразы! Знак исполненности и законченности. Или череда звездочек в конце главы, знаменующая завершение эпизода.

Летом 1913 года, когда девушки (Хильда – двадцати, а Конни – восемнадцати лет) вернулись на каникулы домой, отец сразу смекнул, что дочери уже познали мужчин. Но сам человек, как говорится, бывалый, он решил не вмешиваться в течение их жизни. Мать, доживавшая свой век в сильном нервном расстройстве, пеклась лишь об одном: чтоб они были «свободны», чтоб их личности «полностью раскрылись». Самой бедняжке жизнь в этом отказала, «раскрыться» ей так и не удалось. Почему – ведомо лишь Господу, ведь она жила в достатке и независимо. Винула она во всем мужа. И напрасно: сизмальства в ее сердце и уме запечатлелся образ мужчины-повелителя, и избавиться от него так и не удалось. И сэр Малькольм ни при чем. Он предоставил своей неуравновешенной, вечно недовольной, враждебно настроенной супруге распоряжаться ее собственной судьбой, выгородив ее из своей жизни.

Дочери и впрямь были «свободны», а потому вернулись вскорости в Дрезден, к музыке, университетским премудростям и приятелям. Каждая по-своему любила «своего» парня, и те тоже любили их со всей пылкостью, коренившейся не в сердце, а в уме. Все самые прекрасные мысли, слова подарили они своим возлюбленным. Приятель Конни занимался музыкой, приятель Хильды – точными науками. Но главное занятие в жизни – любимые девушки. То бишь в жизни внутренней, в сфере мыслей и чувств. В жизни обыденной у них бывали и неудачи, и разочарования, но юноши их не замечали.

И у юношей можно заметить, как любовь поражает не только их дух, но и плоть. Интересно, как неброско, но очевидно меняется обличье и мужчин, и женщин. Женщина расцветает, теряет девичью угловатость: бедра, груди обретают округлость. Взгляд либо взволнован, либо торжествующе-уверен. Мужчина делается спокойнее, чуть замыкается, не так гордо размахнуты плечи, подобраны ягодицы. Появляется раздумчивость и неуверенность.

Поначалу, столкнувшись с незнакомой мужской силой, которая ввергла их плоть в трепет и смятение, сестры едва не подчинились ей. Но вовремя возобладал разум: да, ласки приятны, но не более. В кабалу за них идти нельзя. У мужчин по-другому: в благодарность женщинам за минуты любви они готовы всю душу отдать. Хотя потом сами же в затылках чешут – эх, потеряли золотой, а нашли медяк. Приятель Конни становился все мрачнее, а приятель Хильды – язвительнее. Такой вот народ эти мужчины. Неблагодарные и ненасытные! Отказываешь им – они сердятся, потакаешь – пуще прежнего злобятся, повод всегда найдется. А то и вовсе без повода, просто капризничают, как дети, которых – старайся не старайся – женщине не ублажить.

Грянула война. Хильда и Конни поспешили домой, где были совсем недавно – хоронили мать. А к Рождеству 1914 года погибли и их друзья-немцы. Сестры всплакнули, любовь полыхнула в душе ярким огоньком и подернулась пеплом забвения. Этих молодых людей не вернешь.

Сестры поселились в отцовском доме в Кенсингтоне (по сути – доме их матери). Теперь их окружали студенты Кембриджа, они тоже отстаивали свою «свободу»: носили тонкие шерстяные костюмы, рубашки с отложными воротничками, кичились чистокровной анархией чувств, говорили вкрадчивым, журчащим шепотком, в поведении выказывали нарочитую впечатлительность и ранимость.

Хильда неожиданно вышла замуж; ее избранник был на десять лет старше, из той же кембриджской группы, немалого достатка, с нехлопотным чиновничьим местом, которое досталось ему по наследству. Он также писал философские трактаты. Она переехала к нему в тесноватый домик в Вестминстере. Круг знакомых теперь составляли чиновники, хоть и не самого высокого ранга, зато несомненно самые толковые на сегодняшний (или на завтрашний) день в стране. Такие люди не пустословят, а если уж говорят, то умно и веско.

Конни участвовала в благотворительной работе в помощь фронту, однако не особенно усердствовала; проводила много времени в обществе своих кембриджских друзей, щеголявших не только модными брюками, но и непримиримыми взглядами. Эти молодые люди по-прежнему подсмеивались над всем и вся. Особенно она сблизилась с Клиффордом Чаттерли. Было ему двадцать два года, и он только что приехал из Бонна, где изучал технологию угольной добычи. А до этого два года проучился в Кембридже. Теперь, облачившись в лейтенантскую форму, он с большим форсом осмеивал все на свете. Принадлежал он несомненно к кругам высшим, нежели Конни. Та – из

зажиточной интеллигентской среды, Клиффорд – из аристократии. Не ахти какой знатной, но все же. Отец его носил титул баронета, мать – графская дочь.

Клиффорд, хоть и получил лучшее, чем Конни, воспитание, хоть и вращался в свете, уступал ей в широте кругозора и напористости. В узком кругу помещиков-аристократов, «сливок общества» он чувствовал себя как рыба в воде, но с низшими сословиями – ордами простолюдинов – и иноземцами он терялся, робел. Да, если уж говорить начистоту, «низы» пугали его. Он чувствовал свою беззащитность, оттого бывал скован, хотя лучшей защитой ему служило положение в обществе. Увы, в наши дни, как ни странно, это козырь немалый.

Может, именно поэтому тихая, спокойная, но неизменная твердость духа привлекала его в Констанции Рид. В мире, где царит хаос, она чувствовала себя много увереннее, чем Клиффорд.

Нет, он отнюдь не мирился со всем, он восставал, восставал даже против аристократов. Впрочем, «восставал», пожалуй, сильно сказано. Слишком сильно. Просто в ту пору его подхватила волна всеобщего среди молодежи протеста против условностей, против любой власти. Как нелепо и смешно старшее поколение! А его собственный отец – вдвойне! Как нелепы и смешны чиновники! А наши трусливые и ленивые бюрократы – вдвойне! Как нелепы армии, смешны тупоголовые генералы! А красномордый Китченер[3 - Китченер, Гораций Герберт (1850–1916) – английский военачальник, поучивший печальную известность своей жестокостью во время завоевательной акции в Судане (1896), а также англо-бурской войны.] – вдвойне! А до чего ж нелепа война, смешного, правда, в ней мало: гибнут тысячи и тысячи людей.

Если приглядеться – все в жизни нелепо и смешно, прямо обхохочешься; а там, где попахивает властью, – и подавно, будь то армия, правительство или университет. А глядя, как правящий класс изо всех сил пыжится, воображая, что правит, разве удержишься от смеха?

Как смешон сэр Джефри: он рубил деревья на крепеж для окопов, увольнял шахтеров, поставляя солдат для фронта. И так, не рискуя волоском с головы, являл пример патриотизма, правда очень накладного – он в конце концов едва не обанкротился.

Из центра страны в Лондон приехала его старшая дочь Эмма – она решила поработать сестрой милосердия. К отцовскому ура-патриотизму она отнеслась со спокойной улыбкой. Зато старший сын (и наследник) Герберт смеялся отцу в лицо, хотя именно в его парке вырубались деревья. Клиффорд тоже усмехался. Но чуть смущенно. Верно, все в жизни нелепо. Но когда нелепости вырастают в твою жизнь, и сам становишься нелепым... Люди из других сословий, например Конни, жили без притворства. Они по крайней мере во что-то верили.

Они непритворно жалели английских солдат, боялись призыва в армию, сетовали на нехватку сахара и конфет детишкам. Ведь во всем этом – смейся не смейся – виноваты власти предержащие. Клиффорд всерьез об этой связи не задумывался. По его разумению, власть изначально нелепа и смешна, ни солдаты, ни конфеты тут ни при чем.

Меж тем правительственные чиновники, чувствуя свою нелепость и смехотворность, соответственно и поступали, и некоторое время страна жила словно в сумасшедшем доме. Пока не поменялось к лучшему положение на фронтах, пока Ллойд Джордж не пришел к власти и не спас-таки положение. Приумолкли юные острословы, неуместны стали их насмешки.

В 1916 году погиб Герберт Чаттерли, и наследником стал Клиффорд. Даже такая маленькая ответственность напугала его. С рождения его почитали как сына сэра Джеффри, дворянского отпрыска, и участи своей ему не избежать. Знал он и то, что на бескрайнем и таком беспокойном белом свете всякие титулы и привилегии видятся кому желанными, а кому и смешными. И вот теперь он наследник и отвечает за судьбу родового гнезда. Как не испугаться?! Но в то же время он упивался своим барством. Может, это глупое тщеславие?

Для сэра Джеффри, разумеется, самая мысль о тщеславии показалась бы кощунственной. Он ходил бледный, деланно спокойный, погруженный в собственные замыслы: во что бы то ни стало спасти свою родину и свое положение – при правительстве Ллойд Джорджа[4 - Ллойд Джордж, Дэвид (1863–1945) – лидер Либеральной партии, премьер-министр Великобритании в 1916–1922 годах.] или при каком ином – не важно. Он так плохо представлял себе истинную Англию, так был оторван от сиюминутных ее забот, что держался доброго мнения даже о политиках-прохвостах. Сэр Джеффри верил в Англию и Ллойд Джорджа, как его предки издревле верили в Англию и святого Георгия. Чаттерли-старший этой маленькой разницы так и не заметил. Он знай себе валил лес на своих угодьях и свято верил в Ллойд Джорджа и Англию, в Англию

и... Ллойд Джорджа.

Он очень хотел, чтобы Клиффорд женился и произвел наследника. Прямо средневековые какое-то, думал Клиффорд. Впрочем, далеко ли он ушел сам, разве что в язвительных насмешках над нелепой жизнью и над собственным смехотворным положением. Хочешь не хочешь, а пришлось ему, сдерживая глумливый смех, смириться: принимать ему и титул баронета, и родовую усадьбу Рагби.

Война в два счета покончила с беспечным весельем мирных дней. Кругом смерть, кровь... Мужчине хотелось уюта, поддержки. Мужчине хотелось в тихую гавань, где можно бросить якорь. Мужчине хотелось жениться.

Странное дело: несмотря на многочисленные знакомства, младшие Чаттерли (Герберт, Клиффорд и Эмма) жили в Рагби весьма обособленно, довольствуясь обществом друг друга. Семейные узы крепили: все трое чувствовали свою обособленность, шаткость своего положения среди людей (титул и земли скорее способствовали тому, нежели защищали). Жили они вроде бы и в самом промышленном сердце Англии, однако пульс их жизни был совсем иной. Жили они вроде бы среди таких же помещиков, как и отец, однако из-за домоседства, замкнутости и упрямства они так и не сблизились с соседями. Дети, хотя и нежно любили отца, частенько подсмеивались над его тяжелым нравом. Они поставили прожить всю жизнь неразлучной троицей. Но вот погиб Герберт, и сэр Джефри все надежды связал с женитьбой младшего сына. Нет, разговора об этом старик не заводил, он вообще был скуп на слова. Но его задумчивый взгляд, тяжелые, неспешные шаги, исполненное смысла молчание н?дили Клиффорда пуще всяких попреков.

Его браку, впрочем, решительно воспротивилась Эмма. Была она десятью годами старше и считала: женится Клиффорд – значит, предаст и опорочит некогда изъявленную волю троих юных Чаттерли.

Все же Клиффорд женился на Конни и успел провести с ней медовый месяц. Страшный 1917 год сблизил их – так вмиг сближаются пассажиры на палубе тонущего корабля. До женитьбы Клиффорд не спал с женщинами, а плотские утехи значили для него очень и очень мало. А душевная близость с женой не нарушила его девства. Конни даже обрадовалась: вот истинная любовь, выше всяких там сексуальных отношений, выше «удовлетворения страсти». Клиффорд, собственно, и не домогался никакого удовлетворения, не в пример

многим и многим мужчинам. Его близость с Конни глубже, интимнее близости половой, которая суть далеко не обязательное, второстепенное. Так, допотопная и смехотворно нелепая биологическая реакция, назойливо заявляющая о себе, а меж тем надобность в ней давно отпала. А Конни мечтала о ребенке. Хотя бы для того, чтобы утвердиться перед золовкой.

Но в начале 1918 года Клиффорда привезли домой, что называется, еле-еле душа в теле. Детей ждать не приходилось. Сэр Джефри не вынес горя и умер.

Глава 2

Осенью 1920 года Конни и Клиффорд вернулись в Рагби. Сестра Клиффорда так и не простила ему «предательства» и поселилась в Лондоне, в маленькой квартирке.

Усадьба Рагби – старый приземистый и долгий дом, сложенный из песчаника, – стояла давно, с середины восемнадцатого века. С той поры к дому все лепились и лепились бесчисленные пристройки, и теперь он являл собою скорее муравейник, нежели дворянское гнездо. Стояла усадьба на всхолмлении посреди дубравы, но прямо за ней, увы, дымила и чадила огромная труба, – там уже главенствовала шахта Тивершолл, а у подножья холма, прямо от усадебных ворот начиналась деревня – тоже Тивершолл, – тонувшая в сыром мареве. Собственно деревушку составляли унылые и безобразные домишки, разбросанные там и сям на добрую милю. Тесные, убогие, прокопченные дома из кирпича, крытые почерневшим шифером. Фасады их напоминали искаженные безысходной злобой лица.

Конни была более привычна к другой Англии: к Кенсингтону, к горам Шотландии, к долинам Сассекса. Но и чудовищно бездушное уродство шахтерского «сердца Англии» приняла с присущими всем молодым твердостью и решимостью. Приняла сразу. Взглянула и решила, точно отрезала: и лучше об этом и не думать, хотя такое и в страшном сне не приснится. Из тоскливых усадебных покоев ей было слышно, как лязгают огромные сита на сортировке, как тяжело вздыхает и отдувается подъемник, как громыхают вагонетки, как хрипло в изнеможении гудят шахтовые паровозы. Огонь уже долгие годы пожирал устье шахты «Тивершолл», но погасить его – накладно. Так и горел

огромный факел денно и ночью.

А подует ветер в сторону дома (что не редкость), и усадьба наполнялась удушливой серной вонью испражнений Земли. Да и в безветренный день тянет чем-то подземным: серой, железом, углем и еще чем-то кислым. Даже розы, выращенные к Рождеству, каждый раз покрываются копотью, как черной манной с небес в Судный день. Глазам своим не поверишь.

Увы, это так: здешний край обречен! Конечно, это ужасно, но стоит ли вставать на дыбы? Жизнь идет своим чередом, ее не остановишь. На низких полночных тучах загорались красные точки, играли огненные блики, то надувались пузырями, то лопались, как волдыри после ожога, оставляя непреходящую боль. То были шахтные печи. Поначалу они завораживали и пугали Конни, ей казалось, что она живет в преисподней. Но обвыкла. Почти каждое утро встречало ее нудным дождем.

Клиффорд же во всеуслышанье заявлял, что Рагби ему больше по душе, нежели Лондон. В этом краю таилась своя угрюмая сила, жили крепкие, с характером люди. А что еще, кроме характера, есть у этих людей, думала Конни. Ничего. Пустые глаза, пустые головы. Люди под стать своей земле: изможденные, мрачные, безобразные, недружелюбные. А еще таилась страшная неразгаданность и в гортанном их говоре, и в шарканье тяжелых башмаков с подковками, когда тянулись по асфальтовой дороге с работы группы шахтеров.

Ни торжественной встречи, ни праздника по случаю возвращения молодого хозяина селяне не устроили. Никто не пришел приветить его, не принес цветов. И пришлось уныло трястись в машине под дождем по мокрой, темной, обсаженной угрюмыми деревцами аллее; на холме, где начинался парк, паслись овцы; чуть выше раскинулась мрачная усадьба. У подъезда, как загостившиеся и в доме и на земле постояльцы, робко переминались с ноги на ногу экономка и ее супруг, готовясь произнести кургузое приветствие.

Обитатели усадьбы и деревни не общались – решительно и бесповоротно. Встречая господ, мужчины не снимали шапок, женщины не приседали в полупоклоне. Шахтеры лишь глазели на хозяев; торговцы кивали Клиффорду, как знакомцу (хоть и смущались при этом), и чуть приподнимали шапки, здороваясь с Конни. Вот и все почести. Непреодолимая пропасть пролегла между господами и простолюдинами. А еще их разделяло скрытое презрение друг к другу. Первые дни Конни очень страдала от этого чувства, изморосью

висевшего в деревенском воздухе. Потом закалила сердце и даже гордилась своей твердостью. Нельзя сказать, что их с Клиффордом ненавидели. Просто Конни и Клиффорд – существа иного порядка, нежели шахтеры. И пропасть меж теми и другими бездонна, они немыслимо далеки друг от друга, как, скажем, далека река Трент (хотя отнюдь не бездонна). Здесь же, среди заводов и шахт Центральной и Северной Англии, меж хозяевами и рабочими никакого мостика не перекинуть, общения не завязать. Мы на своем краю, вы – на своем! Странно: ведь и у тех, и у других бьются в груди одинаковые сердца!

Впрочем, в деревне даже жалели молодоженов, но лишь отвлеченно. А в делах житейских – не тронь! – и та, и другая сторона замыкались.

Местный священник – милый старичок лет шестидесяти, истый ревнитель веры – напрочь потерял особинку, подчинившись деревенской заповеди. Шахтерские жены почти все принадлежали к методистской церкви[5 - Методистская церковь — протестантская церковь, главным образом в Великобритании. Возникла в XVIII веке, отделившись от англиканской церкви, требуя последовательного, методического соблюдения религиозных предписаний. Методисты проповедуют религиозное терпение.]. Сами шахтеры – ни к какой. Но даже простое облачение отгораживало священника от шахтеров, те совершенно не принимали служителя культа как простого, обыкновенного человека. Для них он оставался «господином Эшби», этакой произносящей молитвы и проповеди машиной.

Поначалу Конни и удивлялась и недоумевала, натываясь на произвольно упрямую спесь местных: дескать, хоть вы и леди, мы тоже не лыком шиты. А чего стоит недоверчивая, насквозь лицемерная улыбчивость шахтерских жен в ответ на попытки Конни найти с ними общий язык. Как странно! И как обидно! Всякий раз слышишь насмешливые шепотки: «Эка! Надо ж, сама леди Чаттерли меня словом удостоила! Только пусть нос не задирает, не воображает, что я – грязь у нее под ногами». Невыносимо! И не избавиться от этого. Местные на сближение не пойдут, нечего и надеяться!

Клиффорд уже махнул на них рукой, пришлось и Конни менять отношение. Она шла по улице, ни на кого не глядя, хотя на нее глазели, как на заводную куклу. Случись Клиффорду с кем заговорить, он держался надменно, даже презрительно. Искать с ними дружбы далее – непозволительная роскошь. Дело еще и в том, что Клиффорд привечал и уважал людей лишь своего круга. И в этом он был непоколебим, никаких уступок и компромиссов! Среди шахтеров он не снискал ни любви, ни ненависти. Они принимали его как неотъемлемую часть

бытия: как шахты или как усадьбу Рагби.

В душе Клиффорд отчаянно робел и страдал, сознавая свою увечность. Он не хотел никого видеть, кроме домашней прислуги. Ведь ему приходилось либо сидеть в кресле, либо передвигаться тоже в кресле, но с моторчиком. Однако одевался он по-прежнему изысканно: шил платье у лучших портных, носил элегантные галстуки – все как прежде, и, если поглядеть со стороны, он выглядел по-прежнему красавцем щеголем. Причем в нем не было слащавой женственности, столь присущей нынешним юношам. Напротив, широкие, как у крестьянина, плечи, румяное лицо. Но нет-нет да и проглядывала его суть: в тихой, неуверенной речи; во взгляде – смелом и в то же время боязливым, уверенном и нерешительном. И вел он себя то до обидного надменно, то скромно, даже тушуясь, а случалось, и вовсе робел.

Конни и Клиффорд были привязаны друг к другу, но, как заведено у современной молодежи, без каких-либо сантиментов. Игривым, ласковым котенком Клиффорду уже не стать – слишком великое потрясение выпало ему, слишком глубоко засела боль. Увечный. И Конни льнула к нему всей своей сострадающей душой.

Конечно же, она замечала, что муж почти отгородился от людей. Шахтеры, по сути, крепостные. И видел он в них скорее орудия труда, нежели живых людей; они составляли для него часть шахты, но, увы, не часть жизни; относился он к ним как к быдлу, но не как к равным. А в чем-то даже боялся их: страшно вообразить, как они будут глазеть на него теперешнего, на калеку. А их грубый, малопонятный уклад представлялся ему скорее звериным, нежели человеческим.

Наблюдал он этих существ отстраненно, будто букашек в микроскоп или неведомые миры в телескоп. Сблизиться с ними и не пытался, как, впрочем, и ни с кем, разве что с обитателями усадьбы (давно ему привычными) да с сестрой Эммой (их связывали узы кровного родства и защита семейных интересов). И больше, казалось, ничто и никто его не касается. Пустота. Пропасть. «И мне до него не дотянуться, – думала Конни. – Ухватиться не за что. Ведь он отвергает любое общение».

На самом же деле Клиффорд не мог обойтись без жены. Ни единой минуты. Рослый, сильный мужчина, а совершенно беспомощен. Разве что передвигаться по дому да ездить по парку он умел сам. Но, оставаясь наедине с собой, он чувствовал себя ненужным и потерянным. Конни постоянно должна быть рядом,

она возвращала ему уверенность, что он еще жив.

Бок о бок с неуверенностью в Клиффорде уживалось честолюбие. Он принялся писать рассказы: удивительные, глубоко личные воспоминания о бывших знакомых. Получалось умно?, иронично, но – вот загадка! – не угадывался авторский замысел. Клиффорду не отказать в чрезвычайной и своеобразной наблюдательности. Но его героям не хватало жизни, связи друг с другом. Действие разворачивалось словно в пустоте. А поскольку сегодняшняя жизнь – в основном ярко освещенные театральные подмостки, то рассказы Клиффорда удивительнейшим образом оказались созвучны современной жизни, точнее, душевному ладу современного человека.

Клиффорд прямо-таки с болезненной чуткостью внимал отзывам. Ему непременно хотелось, чтобы рассказы нравились, считались великолепными, непревзойденными. Напечатали их самые передовые журналы. Как водится, кое-что критика похвалила, кое-что – пожурила. Журьба для Клиффорда хуже пытки, каждое слово – нож острый. Похоже, в рассказы он вкладывал всю душу.

Конни помогала чем могла. Сперва работа волновала. Муж обсуждал с ней каждую мелочь дотошно и обстоятельно, а ей приходилось напрягать все силы и тела, и души, и женского своего естества – собирать их воедино, увязывать в композиции рассказа. Это и волновало, и увлекало Конни.

Иных, кроме духовных, забот у них не было. Хотя на Конни вроде бы лежало все домашнее хозяйство... но и им занималась экономка, долгие годы прослужившая еще при сэре Джефри. Высохшая, безупречных манер и поведения... такую горничной даже назвать-то неудобно. Ведь она в доме уже сорок лет! Да и сами служанки долгие-долгие годы при усадьбе. Ужас! Уклад усадебной жизни неколебим. Лучше и не трогать. Пусть себе стоят многочисленные комнаты (куда хозяева уж не заглядывают), и пусть наводят там столь привычную и столь же бессмысленную чистоту и порядок – так заведено в этих краях. Клиффорд, правда, вытребовал себе новую повариху, эта искусная стряпуха готовила ему еще в Лондоне. А в остальном в доме царила особая анархия, бездушная и механистичная. Все совершалось в определенной последовательности, все было расписано по минутам. Честность сл?ги блюли не менее строго, чем чистоту. И все же за таким бездумно-бездушным распорядком виделась Конни анархия. Ибо только теплом и лаской можно связать воедино и наполнить смыслом все эти ритуалы. А пока что дом жил уныло и безотрадно, словно забытая улица.

Могла ли Конни что-либо изменить? Нет, пожалуй, лучше ничего не трогать. Так она и поступила. Изредка навевалась сестра Клиффорда; на ее худощавом породистом лице всякий раз запечатлевалось нескрываемое ликование: в доме все по-прежнему! Нет, вовек она не простит Конни, ведь та порушила ее духовный союз с братом. Эмма первой привозила и только что вышедшие в свет рассказы Клиффорда. Несомненно, это новое слово в литературе, и принадлежит оно роду Чаттерли – единственное мерило ценности для Эммы. Все мыслители и писатели прошлого не в счет. Ценится в мире только новое, а новое – это книги Чаттерли, столь доверительные и интимные.

Заезжал в Рагби и отец Конни. Разговаривая с дочерью с глазу на глаз, он так отозвался о рассказах Клиффорда: «Пишет умно?, да только копнешь, а внутри пусто. Бабочки-однодневки его рассказы!» Конни глядела на отца – дородного шотландского дворянина, обратившего всю жизнь лишь себе на пользу, – и ее большие, еще по-детски изумленные голубые глаза затуманивались. «Внутри пусто!» Что он хотел сказать? Что значит «пусто»? Ведь критики расхваливают Клиффорда, он уже стал известным, книги его стали доходными. Так что же хотел сказать отец, назвав мужнины рассказы «пустыми»? Какой содер^жательности им не хватает?

Конни, как и все молодые, считала: все самое-самое происходит сию минуту. А минуты, увы, быстротечны, и они подчас не являют непрерывную цепочку.

На второй год в Рагби, зимой, отец спросил у нее:

– Надеюсь, Конни, ты не поплывешь по течению и не останешься *demi-vierge*[6 - Девица легкого поведения (фр.).]?

– *Demi-vierge*? – нерешительно переспросила та. – А почему бы, собственно, и нет?

– Да ради бога, если тебя такое положение устраивает, – спешно пошел на попятный отец.

А оставшись наедине с Клиффордом, сказал по сути то же самое.

– По-моему, Конни не очень-то на пользу быть *demi-vierge*.

– То есть и не женщиной, и не девушкой? – уточнил Клиффорд, переводя с французского.

Ненадолго он задумался, густо покраснел, – упрек задел за живое.

– И в каком же смысле ей это не на пользу? – сухо спросил он.

– Ну, она с лица и с тела спала, одни мослы торчат. Ее это отнюдь не красит. Воблой сушеной она отродясь не была, всегда ладненькая, круглобокая, как форель у нас в Шотландии.

– Одним словом, со всех сторон хороша, – подхватил Клиффорд.

Потом он хотел поговорить с Конни о ее двойственном положении... каково ей оставаться девушкой при живом муже. Но так и не набрался храбрости. Близкое, доверительное отношение к супруге порой словно натыкалось на преграду. Душой и мыслями они были едины, телом – просто не существовали друг для друга и избегали любого напоминания об этом, боялись, как преступники – улики.

Впрочем, Конни догадалась, что у отца был какой-то разговор с Клиффордом и чем-то Клиффорд крепко озабочен. Она знала, что его не беспокоит – *demi-vierge* она или *demi-monde*[7 - Дама полусвета (фр.).] – лишь бы сам он ничего не ведал и никто б не указал. Чего глаз не видит, о том душа не болит.

Почти два года жили в Рагби Конни и Клиффорд, и тусклую жизнь их целиком поглощала Клиффордова работа. В этом интересы супругов никогда не расходились. Они обсуждали каждый поворот сюжета, спорили, в муках рождая рассказ, и обоим казалось, что их герои и впрямь живут, дышат... но в безвоздушном пространстве.

Так же в пустоте протекала и жизнь супругов. Остального просто не существовало. Усадьба, слуги – все казалось бесплотным и ненастоящим. Конни ходила гулять и в парк, и в лес сразу за парком: лес дарил ей уединение и тайну. Осенью она ворошила палую листву, весной – собирала первоцветы. Словно один бесконечный сон, похожий на жизнь. Порой она видела себя будто в зеркале: вот она, Конни, ворошит листву, а вот женщина (она напоминает героиню какого-то рассказа) собирает первоцветы. И цветы – лишь тени воспоминаний, отзвуки чьих-то слов. И она сама, и все вокруг бесплотны. И некому протянуть руку, не с

кем перемолвиться словом. Все, что у нее есть, – это жизнь с Клиффордом, плетение нескончаемых словесных кружев с тончайшим орнаментом подсознательного, хотя и говорит ее отец, что рассказы пустые, «бабочки-однодневки». А почему, собственно, должны они полниться чем-то? Почему должны жить вечно? Довольно для каждого дня своей заботы[8 - Евангелие от Матфея, 6: 34.], как довольно для каждого мига не правдивого изображения, а правдивой иллюзии.

У Клиффорда водились друзья, вернее сказать, – знакомцы. Иногда он приглашал их в Рагби. Люд бывал самый разный: и критики, и писатели, но каждый усердно подпевал в хоре славословий хозяйским рассказам. Им льстило приглашение в Рагби, вот они и старались. Конни все это отлично понимала, но не противилась. Подумаешь – мелькают в зеркале тени. Ну и что из того?

Она радушно принимала гостей, в основном мужчин. Она радушно принимала и редких мужниных родичей-дворян. И те и другие, видя милую румяную, голубоглазую простушку с тихим голосом (чуть ли не конопатую!), полагали ее несовременной – сегодня такие крутые, вальяжные бедра не в почете. Сегодня и впрямь в моде «воблы сушеные», девушки с мальчишескими фигурами, плоскогрудые и узкобедрые. А Конни слишком уж женственная для современной красавицы.

Разумеется, гости – мужчины, в основном немолодые, – относились к ней распрекрасно. Она же, зная, как уязвит Клиффорда даже малейший намек на флирт, не принимала никаких знаков внимания. Держалась спокойно и чуть отстраненно, намеренно отгораживаясь от какого-либо общения. Клиффорд в такие минуты гордился собою несказанно.

И родные его в общем-то привечали Конни. Возможно, потому, что не боялись ее. Но раз не боялись, значит, и не уважали. И с родней мужа у Конни не складывалось никаких отношений. Пусть говорят ей любезности, пусть едва скрывают снисходительное высокомерие, опасаться ее не стоит, так что острый булат их злословия может почивать в ножнах. Ведь Конни, по сути дела, отстояла от них далеко-далеко.

Время шло, что-то происходило вокруг, но для Конни ничего не менялось, она так замечательно самоустранилась от всего окружающего мира. Жили они с Клиффордом среди литературных замыслов. Скучать Конни не доводилось, в доме почти всегда были гости. Тик-так, тик-так, тикали дни и недели, только они

явно спешили...

Глава 3

Конни стала замечать, как в душе все растет и растет беспокойство, оно заполняло пустоту, завладевало ее разумом и телом. Вдруг вопреки желанию начинали дергаться руки и ноги. Или, словно током, било в спину, и Конни вытягивалась в струнку, хотя ей хотелось развалиться в кресле. Или начинало щекотать где-то во чреве, и нет никакого спасения, разве что прыгнуть в реку или озеро и уплыть от щекотливой дрожи прочь. Наваждение! Или вдруг отчаянно заколотится сердце – ни с того ни с сего. Конни еще больше похудела и осунулась.

Наваждение! Вдруг вскочит и бросится по парку – прочь от Клиффорда, – упадет ничком в зарослях папоротника. Только бы подальше от дома, подальше ото всех. В лесу обретала она и приют и уединение.

Впрочем, приют ли? Ведь и с ним ничто ее не связывало, – скорее, в лесу ей удавалось спрятаться от всех и вся. А к истинной душе леса, если вообще о ней уместно говорить, Конни так и не прикоснулась.

Она смутно чувствовала: в ней зреет какой-то разлад. Она смутно понимала: жизнь, люди – точно за стеклянной стеной. Не проникают сквозь нее живительные силы! Рядом лишь Клиффорд и его книги – бесплотные миражи, то есть пустота. Куда ни кинь – лишь пустота. Конни это чувствовала и понимала, но смутно.

Что же делать? Стену лбом не прошибешь. Снова намекал отец:

– А что б тебе ухажера завести, а? Познала б все радости жизни.

В ту зиму на несколько дней в Рагби заезжал Микаэлис, молодой ирландец-драматург, сколотивший состояние в Америке. Некогда его с восторгом принимали в лучших домах Лондона. Как же! Ведь его пьесы – о них, аристократах. Со временем в лучших домах поняли, что их просто-напросто

высмеял дублинский мальчишка из самых что ни на есть низов общества. И его возненавидели. В разговоре его имя стало олицетворять хамство и ограниченность. Вдруг выяснилось, что настроения у него – антианглийские. Для некогда поднявших его на щит аристократов это было самым страшным преступлением. Итак, высшее общество морально казнило Микаэлиса и выбросило труп на помойку.

Сам же драматург преспокойно жил в престижнейшем районе Лондона, одевался как истинный джентльмен (не запретишь ведь лучшим портным шить и для подонков, если те хорошо платят).

Приглашение от Клиффорда Микаэлис получил в самый неблагоприятный момент за все тридцать лет жизни. Причем Клиффорд послал приглашение не колеблясь! В ту пору к мнению Микаэлиса прислушивались еще миллионы людей. В лихую для себя годину он, несомненно, будет рад-радешенек погостить в Рагби, ведь для него закрыты все остальные «приличные» дома. И уж конечно, он потом отблагодарит Клиффорда, вернувшись в Америку. Деньги! Слава! И то и другое – что пожелаешь – придет, если о тебе в нужную минуту, в нужном месте замолвят словечко, особенно там, за океаном. Молодой, подающий надежды писатель вдруг обнаружил огромную, совершенно подсознательную и глубоко коренящуюся тягу к известности. В конце концов Микаэлис поступил очень великодушно: вывел Клиффорда в очередной своей пьесе, тем самым прославив. Не сразу сообразил Клиффорд, что драматург высмеял и его.

Конни не понимала, откуда у мужа такое слепое, подсознательное стремление прославиться. Важнее ничего не существовало. Зачем ему слава в этом безалаберном мире, которого он толком не знал и боялся, не ожидая добра. В этом мире его, однако, почитали писателем, причем писателем первоклассным и весьма современным. Конни вспомнила слова своего удачливого, грубого и простодушного отца: кто к искусству причастен, непременно должен себя в лучшем виде представить, да еще и все «прелести» напоказ выставить. Но сам отец, как и его друзья-художники, поторговывавшие своими холстами, довольствовался доступной рекламой. Клиффорд же изыскивал все новые, неочевидные способы – только чтоб о нем узнали. Он принимал в Рагби самых разных людей и ни перед одним, в общем-то, не пресмыкался. Но уж если вознамерился воздвигнуть в одночасье памятник своему писательскому таланту, не погнушаешься и за малым камешком нагнуться.

Микаэлис не заставил себя ждать, приехал на красивой машине, с шофером, и слугой. Джентльмен с головы до пят! У Клиффорда, привыкшего не к столичному лоску, а к простой деревенской жизни, шевельнулось в душе неприятное чувство. Что-то притворное, нет, пожалуй, даже лживое угадывалось во внешности гостя. Под холеной личиной скрывалась совсем иная суть. Клиффорду этого было достаточно, – выводы он делал категорично. Тем не менее к гостю отнесся очень уважительно. И тот был просто очарован. Подле него, тишайше-нижайше ироничнейшего, виляла хвостом, то рыча, то ощериваясь, Удача. И благоговеющему Клиффорду так захотелось почесать ей за ухом, подружиться, – вот только, не ровен час, укусит.

Как ни обряжали, ни обували, ни холили Микаэлиса моднейшие лондонские портные, башмачники, шляпники, цирюльники, на англичанина он решительно не походил. Совершенно не походил! Не то лицо – бледное, вялое и печальное. Не та печаль – не подобающая истинному джентльмену. Читалась на этом лице помимо печали еще и озлобленность. А ведь и слепому ясно, что истинный, рожденный и возвращенный в Англии джентльмен сочтет ниже своего достоинства выказывать подобные чувства. Бедняге Микаэлису досталось изрядно пинков и тычков, поэтому вид у него был чуть затравленный. Он выбился «в люди» благодаря безошибочному чутью и поразительному бесстыдству в пьесах, завоевавших теперь подмостки. Публика валила валом. Казалось, все пинки и тычки – в прошлом... Увы, так только казалось. Никогда им не суждено кончиться. Микаэлис зачастую сам лез на рожон. Тянулся к высшему обществу, где ему совсем не место. Ах, с каким удовольствием английские светские львы и львицы набрасывались на драматурга! И как люто он их ненавидел!

Тем не менее этот выходец из дублинской черни ездил с собственным шофером и со слугой!

А Конни в нем даже что-то понравилось. Он не заносился, прекрасно сознавая свое положение. С Клиффордом беседовал толково, немногословно и обо всем, что того интересовало. Говорил сдержанно, не увлекался, понимал, что пригласили его в Рагби, поскольку заинтересованы в нем. И как многоопытный и прозорливый, но в данном случае почти бескорыстный делец, если не сказать – воротила, он любезно выслушивал вопросы и, не трясая душой, спокойно отвечал.

– Что деньги? – говорил он. – Страсть к деньгам у человека в крови. Это свойство человеческой натуры, и от вас ничего не зависит. И страсть эта – не единичный приступ, а болезнь всего вашего существа, долгая и изнурительная. Вы начали делать деньги, и уже не остановиться. Впрочем, у каждого свой предел.

– Но важно начать, – вставил Клиффорд.

– Безусловно! Пока не «заразились», ничего у вас не выйдет. А как на эту дорожку встанете, так все – вас понесет по течению.

– А могли бы вы зарабатывать иначе, не пьесами? – полюбопытствовал Клиффорд.

– Скорее всего, нет. Плох ли или хорош, но я писатель, драматург, это мое призвание. Поэтому ответ однозначен.

– И что же, ваше призвание – быть именно популярным драматургом? – спросила Конни.

– Вот именно! – мгновенно повернувшись к ней, ответил Микаэлис. – Но эта популярность – мираж, и только. Мираж и сама публика, если на то пошло. И мои пьесы – тоже мираж, в них нет ничего особенного. Дело в другом. Как с погодой: какой суждено быть, такая и установится.

В глазах у него таилось бездонное, безнадежное разочарование. Вот он медленно поднял взгляд на Конни, и она вздрогнула. Микаэлис вдруг представился ей очень старым, безмерно старым; в нем будто запечатлелись пласты разных эпох и поколений, пласты разочарования. И в то же время он походил на обездоленного ребенка. Да, в каком-то смысле он изгой. Но чувствовалась в нем и отчаянная храбрость – как у загнанной в угол крысы.

– И все же за свою жизнь вы сделали очень и очень много, – задумчиво произнес Клиффорд.

– Мне уже тридцать... да, тридцать! – воскликнул Микаэлис и вдруг, непонятно почему, глухо рассмеялся. Слышались в его смехе и торжество и горечь.

– Вы одиноки? – спросила Конни.

– То есть? Живу ли я один? У меня есть слуга, грек, как он утверждает, и совершенный недотепа. Но я к нему привык. Собираюсь жениться. Да, жениться необходимо!

– Вы словно об удалении гланд говорите! – улыбнулась Конни. – Неужто жениться так тягостно?

Микаэлис восхищенно взглянул на нее.

– Вы угадали, леди Чаттерли! Выбор – страшное бремя! Простите, но меня не привлекают ни англичанки, ни даже ирландки.

– Возьмите в жены американку, – посоветовал Клиффорд.

– Американку! – глухо рассмеялся Микаэлис. – Нет уж, я попросил слугу, чтобы он мне турчанку нашел или какую-нибудь женщину с Востока.

Конни надивиться не могла на это дитя сногшибательной удачи: такой необычный, такой задумчивый и печальный... Поговаривали, что только постановки в Америке сулят ему пятьдесят тысяч долларов ежегодно. Порой он казался ей красивым: в профиль и слегка наклонившись, он, если удачно падал свет, напоминал лицом африканскую маску слоновой кости – глаза чуть навывкате, рельефные дуги волевых бровей, застывшие, не улыбочивые губы. И в неподвижности этой – несуетная созерцательность, отрешенность от времени. Таким намеренно изображают Будду. А в африканских масках никакой намеренности, все естественно и просто, в них извечное смирение целой расы. Сколько же ей уготовано судьбой терпеть и смиряться! Иное дело мы: всяк сам по себе, топорщится, противится судьбе. Барахтаемся, точно крысы в омуте, пытаемся выплыть. Конни вдруг захлестнула волной жалость к этому человеку, странная, брезгливая жалость, но столь великая, что впору сравнить с любовью. Изгой! Ведь он же изгой! «Нахал», «пройдоха» – бросали ему в лицо. Да в Клиффорде в сто раз больше и самомнения и нахальства! Да и глупости тоже!

Микаэлис быстро смекнул, что покори́л хозяйку дома. И во взгляде больших карих глаз засквозила отстраненность. Он хладнокровно оценивал Конни, равно и впечатление, которое на нее произвел. С англичанкой даже в любви он

навечно обречен оставаться изгоем. Женщины, однако, нередко льнули к нему. В том числе и англичанки.

С Клиффордом Микаэлис держался независимо и раскованно, смекнув, что этот – такой же чужак в аристократической стае. Им больше по душе рычать друг на друга, нежели улыбаться. Но обстоятельства сильнее.

С Конни он не был столь самоуверен.

Завтракали они в покоех, – в столовой Клиффорд обычно появлялся лишь к обеду, а в утренний час там было не очень-то уютно. После кофе Микаэлис – непоседа и суетник – затосковал, не зная, чем заняться. Стоял чудесный ноябрьский день... чудесный, конечно, по меркам Рагби. Микаэлис загляделся на печальный парк. Господи! Какая же красота!

Микаэлис послал слугу узнать, нельзя ли чем услужить леди Чаттерли, – он собирается поехать в Шеффилд. Слуга вернулся с ответом: хозяйка просит пожаловать к ней в гостиную.

Гостиная Конни располагалась на верхнем этаже в центральной части дома. Покои и гостиная Клиффорда, разумеется, на первом. Микаэлису польстило приглашение в апартаменты хозяйки. Ничего не замечая вокруг, пошел он за слугой... Впрочем, он вообще ничего не замечал и с окружением не соприкасался.

В гостиной он осмотрелся, заметил отличные немецкие копии Ренуара и Сезанна[9 - Ренуар, Огюст (1841–1919), Сезанн, Поль (1839–1906) – ведущие представители французского импрессионизма в живописи.] на стенах.

– Как у вас здесь хорошо, – похвалил он и осклабился. Странная у него улыбка – точно болезненный оскал. – Умно вы поступили, наверху устроились.

– Да, здесь лучше, – согласилась она.

И впрямь: во всем доме лишь ее комната не была безнадежно уныла и старомодна. Лишь в ее комнате запечатлелся характер хозяйки. Клиффорд ее вообще не видел, да и не многих гостей приглашала Конни к себе наверх.

Они с Микаэлисом сели слева и справа от камина и затеяли разговор. Она расспрашивала его о семье, о нем самом. Люди, казалось, всегда несли с собой чудо, и уж коль скоро они пробуждали в Конни сочувствие, не все ли равно, к какому классу принадлежат. Микаэлис говорил совершенно искренне, но не играл на чувствах собеседницы. Он просто открывал ей свою разочарованную и усталую, как у бездомного пса, душу, иногда чуть обнажая уязвленную гордыню.

– Вы – словно птица, отбившаяся от стаи. Почему так? – спросила Конни.

И снова большие карие глаза пристально глядят на нее.

– А не все птицы стаи держатся, – ответил он и прибавил с уже знакомой иронией: – Вот вы, например? Вы же тоже сами по себе.

Слова эти смутили Конни, и она не сразу нашла что ответить.

– Далеко не во всем, не то что вы.

– А я, выходит, безнадежный одиночка? – спросил он, снова осклабившись и сморщившись, как от боли. Лишь в глазах на исказившемся лице все та же грусть, или же смирение перед судьбой, или разочарование, или даже страх.

– Конечно! – У Конни даже захватило дух, когда она взглянула на него. – Конечно, одиночка.

Сколь велик зов его плоти! Конни с трудом сохранила спокойствие.

– Вы совершенно правы! – ответил он, отвел взор, опустил глаза, лицо же оставалось неподвижным, как древняя маска древней расы, которой ныне уже нет. Микаэлис отстранился и замкнулся. От этого, именно от этого лишилась Конни спокойствия.

Вдруг он снова поднял голову, посмотрел ей прямо в лицо: ничто не укроется от такого взгляда, каждую мелочь приметит. И в то же время словно малое дитя воззвало к ней среди беспросветной ночи. И глас, рвущийся из его сердца, отозвался у Конни во чреве.

– Спасибо за то, что думаете обо мне, – только и сказал он.

– Отчего же мне не думать?! – едва слышно с чувством произнесла она.

Микаэлис криво усмехнулся, будто хмыкнул.

– Ах, вон, значит, как!.. Позвольте руку! – вдруг попросил он и взглянул на нее, вмиг подчинив своей воле, и снова мольба плоти мужской достигла плоти женской.

Она смотрела на него зачарованно, неотрывно, а он опустил на колени, обнял ее ноги, зарылся лицом в ее платье и застыл.

Потрясенная Конни как в тумане видела мальчишески трогательный затылок Микаэлиса, чувствовала, как приник он лицом к ее бедрам. Смятение огнем полыхало в душе, но почти помимо своей воли Конни вдруг нежно и жалостливо погладила такой беззащитный затылок. Микаэлис вздрогнул всем телом.

Потом взглянул на нее: большие глаза горят, в них та же страстная мольба. И нет сил противиться. В каждом ударе ее сердца – ответ истомившейся души: отдам тебе всю себя, всю отдам.

Непривычны оказались для нее его ласки, но Микаэлис обращался с ней очень нежно, чутко; он дрожал всем телом, предаваясь страсти, но даже в эти минуты чувствовалась его отстраненность, он будто прислушивался к каждому звуку извне.

Для Конни, впрочем, это было не важно. Главное – она отдалась, отдалась ему! Но вот он больше не дрожит, лежит рядом тихо-тихо, голова его покоится у нее на груди. Еще полностью не придя в себя, она снова сочувственно погладила его по голове.

Микаэлис поднялся, поцеловал ей руки, ступни ног. Молча отошел к дальней стене, остановился, не поворачиваясь к Конни лицом. Потом вернулся к ней, – Конни уже сидела на прежнем месте подле камина.

– Ну, теперь вы, очевидно, ненавидите меня? – спросил он спокойно, пожалуй даже обреченно.

Конни встрепенулась, взглянула на него:

– За что же?

– Почти все ненавидят... потом. – И тут же спохватился: – Это вообще присуще женщине.

– Ненависти к вам у меня никогда не будет.

– Знаю! Знаю! Иначе и быть не может! Вы ко мне так добры, что даже страшно! – вскричал он горестно.

«С чего бы ему горевать?» – подумала Конни.

– Может, присядете? – предложила она.

Микаэлис покосился на дверь.

– А как сэр Клиффорд?.. – начал он. – Ведь ему... ведь он... – И запнулся, подбирая слова.

– Ну и пусть! – бросила Конни и взглянула ему в лицо. – Я не хочу, чтоб он знал или даже подозревал что-то... Не хочу огорчать его. По-моему, ничего плохого я не делаю, а как по-вашему?

– Господи, что ж тут плохого! Вы просто бесконечно добры ко мне... Невыносимо добры.

Он отвернулся, и она поняла, что вот-вот он расплечется.

– Не нужно, чтоб Клиффорд знал, правда? – уже просила Конни. – Он очень расстроится, а не узнает – ничего и не заподозрит. И никому не будет плохо.

– От меня, – взорвался вдруг Микаэлис, – он уж во всяком случае никогда ничего не узнает! Никогда! Не стану ж я себя выдавать? – И он рассмеялся глухо и грубо, – его рассмешила сама мысль.

Конни лишь замороженно смотрела на него. А он продолжал:

– Позвольте ручку на прощанье, и я отбуду в Шеффилд. Пообедаю, если удастся, там, а к чаю вернусь. Что мне для вас сделать? И как мне увериться, что у вас нет ко мне ненависти? И не будет потом? – закончил он на отчаянно-бесстыдной ноте.

– У меня нет к вам ненависти, – подтвердила Конни. – Вы мне очень приятны.

– Да что там! – продолжал он неистово. – Лучше б вы сказали, что любите меня. Эти слова значат куда больше... Прощаюсь до вечера. Мне надо многое обдумать. – Он смиренно поцеловал ей руку и ушел.

За обедом Клиффорд заметил:

– Что-то мне трудно выносить общество этого молодого человека.

– Почему? – удивилась Конни.

– За внешним лоском у него душа прохвоста. Только и ждет, когда б ножку подставить.

– С ним так обходились, – обронила Конни.

– И не удивительно! Ты думаешь, он день-деньской только добро и творит?

– По-моему, он бывает и благороден по-своему.

– К кому это?

– Наверное не скажу.

– Конечно, не скажешь. Не путаешь ли ты благородство с беспринципностью?

Конни задумалась. Неужели Клиффорд прав? Не исключено. Конечно, Микаэлис к цели идет любым путем, но даже в этом что-то привлекает. И исходил он ох как немало, а Клиффорд и нескольких жалких шагов не прополз. Микаэлис достиг цели, можно сказать, покорила мир, а Клиффорд только мечтает. А какими путями достигается цель?.. Да и так ли уж пути Микаэлиса грязнее Клиффордовых? Бедняга сам пускался во все тяжкие, не мытьем, так катаньем, но добился своего. Чем лучше Клиффорд: чтобы пробраться к славе, не гнушается никакой рекламой. Госпожа Удача – ни дать ни взять сука, за которой тысячи кобелей гонятся, вывалив языки, задыхаясь. Кто догонит – тот среди кобелей король. Так что Микаэлис может гордиться!

То-то и удивительно, что не гордился.

Вернулся он к пяти часам с букетами фиалок и ландышей. И снова – как побитый пес. Может, это маска, думала Конни, так легче обескураживать врагов. Только уж больно он привык к этой маске. А вдруг он и впрямь – побитый грустноглазый пес?

Так и просидел весь вечер Микаэлис с видом несчастной собаки. Клиффорду за этой маской представлялась суть – дерзость и бесстыдство. Конни не видела ни того, ни другого; возможно, против женщин он не направлял это оружие. А воевал только с мужчинами, с их высокомерием и заносчивостью. И вот эту-то неистребимую дерзость, таящуюся за унылой, худосочной внешностью, и не могли простить Микаэлису мужчины. Само его присутствие оскорбляло светского человека, и оскорбление это не скрыть за ширмой благовоспитанности.

Конни влюбилась, но ничем себя не выдала; в беседу мужчин она не вмешивалась, а занялась вышивкой. Микаэлису нужно отдать должное: он оставался, как и вчера, грустноглазым, внимательным собеседником, хотя, по сути, был несказанно далеко от хозяев дома. Он лишь умело подыгрывал беседе, отвечая коротко, но ровно столько, сколько от него ожидалось, не выпячивая свое «я». Конни даже показалось, что он, скорее всего, забыл их утреннюю встречу. Но он ничего не забыл.

Не забыл и где находится. Тут он тоже изгой, что ж, такова участь уродившегося изгоем. Утреннюю любовную игру он не принял близко к сердцу. Не переменит его это приключение. Как бездомным псом жил, таким и останется. Хоть завидуют его золотому ошейнику, а все одно: не бывать ему комнатной собачонкой.

В глубине души он сознавал (и смирялся!): в какие павлиньи перья ни рядись, все равно он чужак и в обществе не приживется. Но, с другой стороны, внутренняя отрешенность от всех и вся была ему необходима. Ничуть не меньше, чем чисто внешнее единообразие в общении с «благородными» людьми.

Редкие любовные связи утешали, успокаивали, словом, влияли на него благотворно, и Микаэлиса не упрекнуть в неблагодарности. Напротив, он пылко и растроганно благодарил за малую толику человеческого тепла, неожиданной доброты, едва не плача при этом. За бледным, недвижным лицом-маской, запечатлевшим разочарование, таилась детская душа, исполненная благодарности ласковой женщине. Нестерпимо хочется побыть с ней еще, а душа изгоя твердила: ты все равно от нее далеко.

Зажигая свечи в зале, он улучил момент и шепнул ей:

– Можно мне к вам прийти?

– Я приду сама, – ответила Конни.

– Господи!

Он ждал ее долго-долго... но дождался.

Ласкал он ее трепетно, возбуждение его быстро нарастало, но так же быстро кончалось. Странно, голый он походил на подростка: щуплый, беззащитный – такие тела у мальчишек. Будто вместе с одеждой он расстался со своей броней: умом и хитростью, которая вошла в плоть и кровь. И обнажилось не только его тело, но и душа. Нежный, еще не сформировавшийся плотью ребенок беспомощно барахтается подле нее.

Да, он вызывал в ней необоримую жалость, но равно и необоримую страсть, желание близости. И близость меж тем не приносила ей радости: Микаэлис слишком быстро возгорался, но так же быстро и затухал – без сил падал к ней на грудь, и мало-помалу к нему возвращалась привычная бесстыдная дерзость. А Конни лежала как в полусне, разочарованная и опустошенная.

Но скоро она научилась управлять его телом: когда он быстро утолял свою страсть, Конни, чувствуя в себе его жаркую, на удивление все еще упругую плоть, не отпускала его, а неистово, со всей нерастраченной пылкостью брала на себя ведущую роль, а он благодарно поддавался, уступая ее страсти. Так она достигала высшей точки блаженства. А он, видя, что даже в пассивном положении способен удовлетворить женщину, сам, как ни странно, бывал горд и удовлетворен.

– Как хорошо! – трепетно шептала она, затихала и прикидала к нему. А он лежал такой близкий и такой далекий, довольный собой.

В тот раз он гостил у них три дня, и Клиффорд не заметил в нем никаких перемен. Не заметила бы и Конни. Маску Микаэлис носил безупречно.

Он писал ей письма, все на той же грустно-усталой ноте, порой остроумные, порой трогавшие странной привязанностью без намека на плотское. По-прежнему он был раздвоен: с одной стороны, безнадежно тянулся к Конни, с другой – оставался далеким и одиноким. Какая-то безысходность таилась у него в душе, и он не торопился с ней расстаться, возродить надежду. Скорее наоборот, он ненавидел самое надежду. «Огромной волной катит по земле Надежда», – вычитал он где-то и заметил: «И гонит на пути все достойное и желанное».

Конни толком не понимала его, хотя по-своему любила. Впрочем, безысходность Микаэлиса подавляла ее чувство. Нельзя без оглядки любить разуверившегося человека. А уж он и подавно никогда никого не любил.

Так и тянулась их связь некоторое время: письма да редкие встречи в Лондоне. Она по-прежнему получала удовлетворение, истинное трепетное наслаждение, лишь подчинив его тело своему после того, как у него наступала чересчур быстрая разрядка. И он по-прежнему с гордостью подчинялся ее воле. На этом малом, собственно, и держалась их связь.

Но Конни доставало и малости. У нее появилась уверенность в себе, даже более – едва заметное довольство собой. Уверенность в своих силах, хоть и зиждилась на чистой физиологии, давала огромную радость.

Как переменилось ее настроение в Рагби! Конни радовалась жизни, радовалась пробудившемуся женскому началу. И своим настроением она изо всех сил старалась подвигнуть Клиффорда на самые удачные творения. И в ту пору они ему удавались в ту пору, и он был почти что счастлив в неведении: ведь он пожинал плоды, возвращенные на чувственной ниве его супруги, по сути, ею же самой, так как пахарь, равно и орудие его страсти были полностью подвластны Конни. Но Клиффорд, конечно же, об этом не догадывался. Узнай он, вряд ли похвалил бы жену.

Впрочем, когда дни великой радости и подъема ушли (причем безвозвратно!) и Конни вновь сделалась унылой и раздражительной, Клиффорд безмерно тосковал по дням минувшим. Тогда, может быть, даже узнав о связи жены с Микаэлисом, он попросил бы их снова сойтись.

Глава 4

Конни предчувствовала, что отношения с Миком (так многие называли Микаэлиса) заведут в тупик. Однако другие мужчины для нее будто и не существовали. Душой она была привязана к Клиффорду. Он хотел многого: чтобы вся ее жизнь принадлежала ему, и Конни давала что могла. Но она тоже хотела многого от мужчины, с которым живет. Клиффорд этого не давал. Не мог. Она довольствовалась редкими, скоротечными ласками Микаэлиса. Но предчувствие крепло: скоро все кончится. Мик не способен на долгую привязанность. Он непременно разорвет любую связь, вырвется на свободу – в этом его суть. Отрешится от всех и вся и снова станет бродячим псом. Без этого ему не прожить. Хотя потом он запричитает: «Это она меня бросила!»

На белом свете полным-полно самых заманчивых возможностей, но каждому в жизни выпадает лишь одна-две. Много в море самой замечательной рыбы, но попадается все скумбрия да сельдь. И если вы сами не из благородных, то хорошей рыбы встретите в море не много.

Клиффорд рвался к славе, да и к деньгам тоже. К нему часто приезжали, гость в Рагби шел косяком. Но все скумбрия да сельдь, редко-редко кто покрупнее да поблагороднее.

Был и, так сказать, постоянный круг – однокашники Клиффорда по Кембриджу.

Томми Дьюкс, он и после войны не оставил армию. Дослужился уже до бригадного генерала.

– Служба оставляет мне много времени для раздумий и спасает от битв в жизни повседневной, – говаривал он.

Ирландец Чарльз Мей, он очень умно писал о звездах.

Хаммонд – тоже писатель.

Все они – ровесники Клиффорда, молодые современные интеллигенты. Все они верили, что нужно жить высокодуховно. А остальное – личное дело каждого и значения не имеет. Никому же не придет в голову спрашивать, когда вы ходите в уборную. Никого это не интересует, кроме вас.

И ко всему в повседневной жизни – бедны вы или богаты, любите ли жену или у вас есть любовница – они относились так же: это дело посторонних интересоваться не должно.

– Смысл полового вопроса в том, что он бессмыслен, – разглагольствовал тощий, долговязый Хаммонд, супруг, отец двух детей, более породнившийся, однако, с пишущей машинкой. – Сам вопрос надуман. Придет ли кому в голову сопровождать вас в сортир? Так почему же мы должны лезть к вам в постель, когда вы с женщиной? Вот и весь вопрос. Научиться не замечать половую жизнь, как и прочие естественные отправления, и нет больше никакого вопроса. Все дело в нашем неуместном любопытстве.

– Верно, Хаммонд, верно! Представь: кто-то задумал переспать с твоей Джулией, ты небось вскипишь, а перейди он от слов к делу – взорвешься!

– Ну, конечно! Если кто станет мочиться в углу гостиной – тоже не потерплю. Всеу свое место.

– То есть, соблазни кто Джулию в пристойном будуаре, ты и ухом не поведешь.

Чарли Мей немного язвил, – он приударял за женой Хаммонда. Тот грубо отрезал:

– Наша половая жизнь с Джулией никого не касается. И совать нос я никому не позволю.

– Вот видишь, Хаммонд, как в тебе развито собственничество, – заметил тщедушный, конопатый Томми Дьюкс, куда больше похожий на ирландца, чем дебелий Мей. – А еще ты жаждешь самоутверждения, успеха. Я до мозга костей человек военный, светскую жизнь со стороны наблюдаю и вижу, как чрезмерна в мужчинах тяга к самоутверждению и успеху. Она все затмевает. Силы забирает без остатка. Ну, а такие, как ты, считают, что с женщиной под боком быстрее к цели придешь. Оттого и ревнуешь. Для тебя и постель – генератор успеха. А пойдет успех на убыль – начнешь и жене изменять. Вон как Чарли: его успех стороной обошел. Но на таких, как вы с Джулией, супругах будто ярлычок висит, знаешь, как на чемоданах: собственность такого-то. Вы уже сами себе не принадлежите. Джулия – «собственность Арнольда Б. Хаммонда», а сам он – «собственность госпожи Хаммонд». Да, конечно, ты возразишь, дескать, высокая духовная жизнь требует материального достатка: и уютного жилья, и вкусной пищи. Даже потомство – и то неперменное условие. И зиждется все на подсознательном стремлении к успеху. Вокруг этой оси вся наша жизнь вертится.

Хаммонда эти слова задели. Он гордился тем, что в своей духовной жизни не шел ни на какие компромиссы со временем. Уж приспособленцем-то его не назвать! Хотя от этого ничуть не убыло его стремление к успеху.

– Верно, без денег не проживешь, – вздохнул Мей, – нужен достаток, чтоб жить, развиваться... Даже для того, чтоб беззаботно размышлять о том же достатке. На голодный желудок не поразмышляешь. А вот что касается собственнических ярлыков, я б не стал их навешивать на отношения мужчин и женщин. Мы беседуем с кем нам хочется, почему б нам не спать с теми женщинами, которые нам милы?

– Итак, слово похотливому кельту, – вставил Клиффорд.

– Похотливому? Впрочем, что ж в этом плохого? По-моему, переспав с женщиной, я обижу ее не более, чем станцевав с нею... или даже просто поговорив о погоде. Только в разговоре мы обмениваемся суждениями, а в постели – чувствами. Так что ж в этом плохого?

– И превратимся в кроликов. Они любой самке рады.

– А чем, собственно, тебе не нравятся кролики? Неужто они хуже человеческого племени, всех этих неврастеников и революционеров, исходящих зудом ненависти?

– И все же мы не кролики, – бросил Хаммонд.

– Вот именно! Я обладаю разумом. Я могу производить расчеты астрономических величин, и они для меня едва ли не важнее жизни и смерти. Порой меня допекает желудок. А голод и вовсе действует губительно. Так же и изголодавшаяся плоть частенько напоминает о себе. Что же делать?

– Твоя плоть, по-моему, больше бунтует не от голода, а от обжорства, – съязвил Хаммонд.

– Только не от обжорства! Не терплю излишеств ни в пище, ни с женщинами. Во всем нужно знать меру. Но ты б меня посадил на голодный паек.

– Зачем же! Я б и тебе советовал жениться.

– А откуда ты знаешь, гожусь я для семейной жизни или нет? Семейная жизнь подорвет... да что там – сведет на нет мою жизнь духовную. Я не хочу ограничивать свой мир семьей, не хочу сидеть на привязи и жить монахом! Все это чушь и суета! Мне суждено жить, заниматься астрономией и иногда спать с женщинами. Я отнюдь не такой уж сердцеед, но ничьих осуждений или запретов не потерплю. Мне было бы стыдно видеть женщину с ярлыком, на котором значится мое имя, адрес, – словно чемодан с платьем.

Хаммонд не мог простить Мею флирта с женой, а тот не упускал случая уязвить соперника.

– Ты, Чарли, интересно рассуждаешь, – вступил в разговор Дьюкс, – сравнивая половое общение с разговором. Дескать, в первом случае – дела, во втором – слова. По-моему, ты прав. И надо как можно полнее обмениваться с женщинами чувствами, ощущениями, ведь можем же мы с ними многословно рассуждать о погоде. Так и физическая близость – вроде обыкновенного – только на уровне физиологии, разговора между мужчиной и женщиной. Ведь и словесно ты заговариваешь с ней лишь тогда, когда чувствуешь что-то общее, то есть, нет интереса – нет и разговора. То же самое и с близостью: нет у тебя чувства к женщине, не станешь и спать с ней. А уж если чувство появится...

– Если чувство появится, то твой прямой долг – переспать с этой женщиной, – заключил Мей. – Поступать иначе – просто неприлично. Как и в беседе: если тебе интересно, ты выскажешься, иначе просто неприлично. А что, лучше быть ханжой и помалкивать, прикусив язычок? Нет уж, лучше все накопившееся излить. Во всех случаях лучше.

– Как ты неправ, Мей, – начал Хаммонд. – На твоём же примере докажу. Вот ты тратишь на женщин половину сил. И не совершишь того, что мог бы, ведь у тебя светлая голова. Но ты растрачиваешь себя попусту.

– Возможно, но ведь и тебе, дорогой мой, больших свершений не видать, хоть ты и женат и не «растрачиваешься». Только ум твой, праведный и бескомпромиссный, давно высох. И вся твоя праведность и стойкость, насколько я вижу, ушла в слова.

Томми Дьюкс рассмеялся:

– Да хватит вам, умники! Посмотрите на меня. Я не ахти какой философ, просто, случается, кое-какие мыслишки записываю. Я не женат, но и за женщинами не волочусь. По-моему, Чарли прав: если ему нравятся женщины, пусть спит с ними, часто ли, редко ли – его дело. Во всяком случае, я ему запрещать не буду. А у Хаммонда возобладал инстинкт собственника, поэтому для него праведность и смирение плоти – главное! Погоди, его еще при жизни нарекут Великим Английским Писателем. Все у него четко, ясно и понятно, от А до Я. А взять меня. Ничтожный человек, пустослов... А ты, Клиффорд, как думаешь: постель и

впрямь генератор успеха, движитель мужчины в жизни?

В подобных разговорах Клиффорд участвовал редко, стараясь держаться в тени: в этой области его рассуждения маловажны. Теперь же он покраснел и смутился:

– Я, так сказать, *hors de combat*, человек увечный, вряд ли смогу что-либо сказать по существу.

– Не наговаривай на себя, – вмешался Дьюкс, – голова-то у тебя отнюдь не увечная, ум твой цел-невредим и по-прежнему глубок. И нам интересно тебя послушать.

– Право, не знаю, – Клиффорд запнулся. – Не знаю, что и сказать. «Женись, и дело с концом» – вот, пожалуй, суть. Ну, а если мужчина и женщина любят друг друга, их близость – великое чудо.

– Ну-ка Расскажи о великом чуде, – попросил Томми.

– Близость таких людей много выше близости плотской, – пробормотал Клиффорд; его, как девушку, смущали такие разговоры.

– Ну, вот, например, мы с Чарли считаем, что секс – это форма общения, как речь. Случись женщине заговорить со мной на языке интимности, я, естественно, поддержу этот разговор и пересплю с ней, когда время подойдет. К сожалению, женщины не очень-то балуют меня такими разговорами, так что приходится спать одному, что, впрочем, ничуть не хуже. Хотя откуда мне знать, можно лишь предполагать. Ведь я не считаю звезды, не пишу бессмертных романов. Я всего-навсего простой армейский бездельник.

Беседа прервалась. Мужчины закурили. А Конни все сидела подле них и – стежок за стежком – продолжала вышивать. Да, она присутствовала при этих разговорах! Но сидела молча – таков порядок, – не вмешивалась в сверхважные рассуждения высокодуховных джентльменов. И уйти ей нельзя: без нее беседа у мужчин не клеилась. Они теряли велеречивость. А Клиффорд совсем пасовал, нервничал, трусил, если Конни не сидела рядом, и беседа заходила в тупик. Больше, чем другим, Конни симпатизировала Томми Дьюксу, – очевидно, чувствуя это, он старался вовсю. Хаммонд не нравился ей вовсе: в каждом слове,

в каждой мысли проглядывал себялюбца. К Чарльзу Мею она относилась более благосклонно, но что-то в нем претило ей, что-то вульгарно-приземленное, несмотря на высокие устремления к звездам.

Сколько вечеров провела Конни, слушая откровения четырех мужчин. Редко к ним добавлялся один-другой гость. Конни нимало не трогало, что мужчины так ни до чего и не договаривались. Она просто с удовольствием слушала, особенно когда говорил Томми. Лестно! Мужчины открывали перед ней свои мысли, а это, право, же, стоило всех их поцелуев и ласк. До чего же лестно! Но сколь холоден их разум!

Но они ее и раздражали. Пожалуй, Микаэлиса она уважала больше, хотя на его голову гости обрушивали столько испепеляющего презрения: шавка, рвущаяся к славе, невежественный нахал, каких свет не видывал. Пусть шавка, пусть нахал, но он мыслил четко и по-своему, а не утопал в пышном многословии, любуясь своей высокодуховностью.

Конни привечала духовность, ее очень увлекала такая жизнь. Но не слишком ли усердствовали друзья Клиффорда? Да, приятно сидеть в клубах табачного дыма на этих славных вечерах закадычных (как она величала их про себя) друзей. Как забавно и лестно, что им не обойтись без ее присутствия. Она безгранично уважала МЫСЛЬ, а эти мужчины пытались хотя бы мыслить честно. Однако мысли мыслями, а дальше-то что? Никак не могла она взять в толк, в чем суть этих разговоров. Не раскрыл эту суть и Микаэлис.

Впрочем, сам-то он ничего особенного не замышлял, а просто шел к цели, не мытьем, так катаньем добиваясь своего и равно страдая от чужих козней. Клиффорд со своими закадычными дружками считал его врагом общества. Сами же они врагами не были, напротив, они радели об обществе, жаждали так или иначе спасти человечество или по крайней мере просветить.

Вечером в воскресенье беседа удалась. Незаметно она снова коснулась любовной темы.

– Благословенна будет связь, что наши души сочтает, – продекламировал Томми Дьюкс. – А вот знать бы, что это такое. У нас, например, связь, как у разновеликих шестеренок, только сцепляемся мы своими воззрениями. А в остальном нас очень мало что связывает. Стоит разъять шестеренки, и мы уже

порознь, говорим друг о друге гадости, – так заведено у интеллигентов во всем мире. Впрочем, черт с ними, речь не обо всех, а о нас. А зачастую злоба друг к другу у нас не на языке, а в душе, и вот мы ее прячем, прикрываем лживой любезностью. Удивительно! Жизнь мыслителей цветет прекрасным цветом, а корнями-то уходит в злобу, в бездонную, чудовищную злобу. И так испокон веков! Вспомните Сократа, его ученика Платона[10 - Сократ (470–399 гг. до н. э.) – древнегреческий философ, живший в Афинах, учение которого знаменует поворот в философии – от рассмотрения природы и мира к рассмотрению человеческой личности; Платон (427–347 гг. до н. э.) – древнегреческий философ, основоположник идеализма; ученик Сократа, сделал его главным действующим лицом своих «Диалогов».] и сравните со всем их окружением. Сколько в них злобы, как рады они растерзать кого-либо, например Протагора[11 - Протагор из Абдеры (480–410 гг. до н. э.) – виднейший представитель философской школы софистов; в конце жизни был изгнан из Афин. Платон назвал его именем один из своих «Диалогов». Широкую известность получила критика софистов у Сократа и его учеников.], если мне не изменяет память. Или взять Алкивиада и всех мелких шавок-учеников[12 - Алкивиад (ок. 450 – ок. 404 гг. до н. э.) – древнегреческий полководец и политический деятель, в юности – ученик Сократа. На одном из витков своей бурной политической карьеры был обвинен в государственной измене и заочно приговорен к смертной казни.]. Как упоенно травят они учителей! Поневоле обратишь взгляд на Будду, смиренно сидящего под священным деревом, или на Христа: в Его притчах ученикам столько любви, покоя и никакой мишурной зауми. Нет, что-то в корне неверно в том, как живет и развивается мысль. Ее питают злоба и зависть, зависть и злоба! Дерево по плодам узнаешь[13 - Искаженная цитата из Евангелия от Луки, 6: 44 – «...всякое дерево познается по плоду своему...»].

– По-моему, не столь уж мы и злобны, – возразил Клиффорд.

– Дорогой мой, прислушайся, как мы друг с другом говорим. Я, пожалуй, хуже всех. Да я предпочту самую горькую пилюлю конфете, в которой сокрыт яд. И когда я завожу, какой Клиффорд славный малый, тут его впору пожалеть. Ради бога, не жалейте меня, говорите самое мерзкое, тогда я, по крайней мере, пойму, что вам на меня не наплевать. А начнете льстить – все, значит, со мной покончено.

– А мне кажется, мы друг к другу питаем искреннюю приязнь, – заметил Хаммонд.

– И все ж нам надо... да, чего там, мы и в глаза друг другу всякие пакости говорим. А за глаза и подавно! Я, пожалуй, больше всех!

– Ты, по-моему, путаешь размышление с критикой. Согласен: Сократ положил блистательное начало критическому направлению, но ведь он не только в этом преуспел, – важно произнес Чарльз Мей. Сколько тщеславия и напыщенности прятали закадычные друзья под личиной скромности. Каждое слово рассчитано на публику и вместе с тем сколь смиренно!

Дьюкс не стал спорить относительно Сократа, а Хаммонд заметил:

– Совершенно верно – критика и познание далеко не одно и то же.

– Далеко не одно и то же, – эхом откликнулся Берри, молодой застенчивый смугляк. Он приехал на два дня повидать Дьюкса и остался.

Присутствующие изумленно воззрились на него, как на Валаамову ослицу[14 - Валаамова ослица – согласно ветхозаветному сказанию, внезапно заговорившая ослица прорицателя Валаама; в переносном смысле – объект крайнего удивления окружающих. (Числа, 22: 28.)].

Дьюкс рассмеялся:

– Да я вовсе не о познании говорил, а о сознании. Истинное знание приходит к нам посредством всех органов тела: и через желудок, и через половой член, и в том числе через сознание, то бишь мозг. Сознание может лишь анализировать и логически обосновывать, а стоит возвысить мозг над остальными органами, и ему останется только критиковать, то есть выхолостится его основное предназначение. Но и критика исключительно важна! Наш образ жизни нуждается в нелюбимейшей критике. И давайте жить разумом, и давайте с радостью глотать горькие пилюли, а с былым ханжеством и притворством покончим. Но помните, пока живете как простой смертный, вы – частичка всего сущего и незримо связаны с ним. А как выбрали жить разумом, так в миг прервалась связь, будто бы отторгли вы себя от ветки, на которой росли. И если, кроме жизни разума, не будет у вас никакой иной, вы завянете, как палое яблоко. Отсюда и вытекает логически: не уйти нам от злобы, это естественно и неизбежно, как не миновать палому яблоку гниения.

Клиффорд не скрывал недоумения; что за чушь несет приятель?! Конни тоже едва сдерживала смех.

– Что ж, видно, мы все – палые яблоки, – сердито и не без яда бросил Хаммонд.

– Впору из нас сидр сделать, – обронил Чарли.

– А что вы думаете о большевизме? – вдруг спросил смуглый Берри, словно его подвела к вопросу логика разговора.

– Bravo! – воскликнул Чарли. – Так что же вы думаете о большевизме?

– Ну-ка, ну-ка! Сейчас мы и с большевизмом в два счета разделаемся!

– Вопрос, прямо скажем, непростой. Тут не до шуток, – покачал головой Хаммонд.

– По-моему, большевизм – это высшая точка ненависти ко всему, что кажется большевикам буржуазным, – начал Чарли. – Ну, а «буржуазное» – понятие очень и очень расплывчатое. Оно включает в себя и капитализм. Равно и все чувства – проявления «буржуазные»; и нужно создать человека без этих предрассудков. Тогда и сам человек, его личность, его неповторимость – тоже явление буржуазное. К ногтю его! Личное должно уступить место большему, общественному. Так это понимают Советы. Для них даже человеческий организм – проявление буржуазности. Так не лучше ли придумать механическое нутро? Наделать бездушных, противоестественных, разнозначных, но равноценных винтиков и собрать из них свою машину. Каждый человек – винтик. Ну, а движет эту машину... ненависть ко всему буржуазному. Вот так я понимаю большевизм.

– Очень точная картина! – воскликнул Томми. – Но до чего она близка к идеалу нашего промышленного мира. Идеал заводчика в общих чертах. Правда, заводчик не согласится избрать ненависть двигателем. Впрочем, ненависть многолика. Можно ненавидеть самую жизнь. Достаточно взглянуть на наш край, неприкрытая ненависть во всем... но, как мы уже говорили, если жить разумом, логика неизбежно приведет к ненависти.

– Выходит, большевизм закономерен? Не согласен! Ведь он отрицает основы самой логики! – возмутился Хаммонд.

– Дорогой мой, у большевиков своя логика, материалистическая. Это привилегия... душ неискушенных.

– Как бы там ни было, а большевики потрясли мир.

– Потрясли-то потрясли, а где этому конец? Очень скоро у большевиков будет лучшая армия в мире, с лучшим техническим оснащением.

– Но должен же прийти конец... всей этой ненависти. Должно же быть противодействие.

– Сколько лет ждали, подождем еще. Ведь ненависть, как и все на свете, развивается. Это неизбежный результат насильственного претворения в жизнь тех или иных замыслов, насильственное извлечение чьих-то глубоко запрятанных чувств. Появляется задумка, за ней на свет божий выползают глубоко скрытые чувства. Нас нужно завести, как машину. Логический разум стремится возобладать над чувствами, а чувства-то все суть ненависть. Так что мы все большевики. Но лицемерим, не признаемся в этом. А русские – большевики без всякого лицемерия.

– Но развитие может идти не только путем Советов. Много и других путей. Ведь большевики, по сути, глупы.

– Верно. Но порой быть дураком не так уж глупо. Если хочешь добиться своего. Я лично считаю большевизм движением полоумных, равно и общественная жизнь на Западе представляется мне полоумной. Даже более того: наша хваленая «жизнь разума» и та, кажется мне, от скудоумия. Мы – выродки, идиоты. Лишены человеческих чувств. Чем мы не большевики? Только называем себя по-другому. Мы мним себя богами, всесильными и всемогущими. Точно так же и большевики. Нужно вернуться к человеческому естеству, вспомнить, зачем нам сердце, половой член, – тогда мы перестанем уподоблять себя богам и, соответственно, большевикам, что, по сути, одно и то же: добродетельны они лишь на вид.

Наступило молчание. Чувствовалось, что присутствующие не согласны. И тут снова прозвучал вопрос Берри:

– Но уж в любовь-то вы верите, Томми?

– Ах ты, мой милый! – усмехнулся Томми. – Нет, мой ангел, нет, нет и еще раз нет! Любовь в наш век – еще одна забава полоумных. Вихлявые мальчишки спят с грубыми девками, у которых бедра под стать мальчишечьим. Посмотришь – как два жеребчика в упряжке. Ты такую любовь имеешь в виду? Или любовную связь, что непременно приведет к успеху? Или, может, унылый брак двух собственников? Нет, в такую любовь я не поверю ни за что!

– Но во что-то вы же верите?

– Я-то? Ну, разумом я верю в доброе сердце, в зазорный пенис, в живой ум, в мужество, если его достанет сказать при даме неприличное слово.

– Во всем этом вам не отказать, – согласился Берри.

Томми Дьюкс захохотал во все горло:

– Ах, ты ангел мой! Если бы! Увы, в сердце моем не больше доброты, чем в картофелине, пенис совсем понурился, и я скорее дам его отрезать, чем выругаюсь при матушке или тетушке: они у меня истинные дамы. Да и ума у меня маловато, мой разум – мое вечное узилище! А хотелось бы обладать умом. Встрепенулся б тогда, ожил бы каждой клеточкой, каждым органом. Тогда б мой пенис приосанился бы, поприветствовал бы меня, как всякого умного человека. Ренуар, по его же признанию, рисовал картины пенисом... и как! Вот бы и мой на что толковое употребить! Господи! Какая же пытка работать только языком! Мука адская! Это все пошло от Сократа.

– Но красивые женщины на белом свете еще не перевелись, – подняла голову и наконец заговорила Конни.

Мужчины оскорбленно промолчали. Хозяйке дома не полагалось вслушиваться в беседу. Им претила сама мысль, что Конни могла следить за ходом разговора.

– Нет, и думать нечего! Я просто не могу соответствовать всем колебаниям женской натуры. Нет такой женщины, которая будила бы во мне желание. Это желание мне нужно вызывать в себе силой... Господи! Нет никакой надежды. Я буду жить, по-прежнему руководствуясь голым разумом. И честно в этом признаюсь. Я счастлив, разговаривая с женщинами. Но это просто разговор, непорочный, без каких-либо задних мыслей! Не сулящий никаких надежд. Что ты на это скажешь, мой птенчик? – обратился Томми к Берри.

– Если остаться непорочным, жизнь намного проще, – ответил тот.

– Да, жизнь вообще предельно проста!

Глава 5

Морозным утром, под тусклым февральским солнцем Клиффорд и Конни отправились парком на прогулку в лес. Клиффорд ехал на кресле с моторчиком, Конни шла рядом.

В холодном воздухе все же чувствовался запах серы, но и Клиффорд и Конни давно привыкли к нему. Горизонт скрывала молочно-серая от копоти морозная дымка, а над ней – лоскуток голубого неба. Будто Клиффорд и Конни оказались под смрадным колпаком, откуда и не выбраться. И вся жизнь – страшный, дикий сон под этим колпаком.

Коротко взблеивали овцы, щипая жесткую, жухлую траву в парке, там и сям во впадинках серебрился иней. Через парк к лесу красной лентой вилась тропинка, выложенная наново (по приказу Клиффорда) мелким гравием с шахты. Выгорая, выделяя серу, порода делалась красноватой, под цвет креветки, в дождливый день темнела – более под стать крабьему панцирю. Сейчас тропинка была нежно-розовой с голубовато-серебристой оторочкой из инея. Конни так нравилось хрустеть мелким красным гравием. Нет худа без добра: и шахта дарила маленькую радость.

Клиффорд, осторожно правя креслом, съехал с пригорка, на котором стояла усадьба. Конни шла следом, придерживая кресло за спинку. Невдалеке

раскинулся лес: спереди плотной кучкой выстроились каштаны, за ними, догорая последним багрянцем, высились дубы. На опушке прыгали, вдруг застывая как вкопанные, зайцы. Снялась и устремилась к голубому небесному лоскутку большая стая грачей. Конни открыла калитку, выведившую из парка в лес, и Клиффорд медленно выехал на широкую аллею, взбирающуюся на пригорок меж ровно и густо растущих каштанов. Некогда лес был дремуч, в нем охотился сам Робин Гуд, некогда и нынешняя аллея была основной дорогой меж западными и восточными графствами. Сейчас же по аллее только ездить верхом да оглядывать частные владения, а дорога забирала на север, огибая лес.

Лес стоял недвижим. Палые листья иней прилепил к холодной земле. Вот вскрикнула сойка, разом вспорхнули какие-то мелкие птицы. Но поохотиться уже не удастся, – даже фазанов нет. В войну уничтожили всю живность, некому постоять за господский лес. Лишь недавно Клиффорд нанял егеря-лесничего.

Клиффорд любил лес, любил старые дубы. Скольким поколениям Чаттерли служили они. Их нужно охранять. Ему хотелось уберечь лесок от мирской скверны.

Медленно катило кресло вверх по склону, вздрагивая, когда под колесо попадал ком мерзлой земли. Неожиданно слева открылась полянка: кроме приникших к земле спутанных кустиков папоротника, нескольких чахлых побегов, гололобых пней, уцепившихся мертвыми корнями, ничего нет. Чернели лишь кострища, – дровосеки жгли валежник и мусор.

Во время войны сэр Джеффри определил этот участок под вырубку. И пригорок справа от аллеи облысел и глядел очень сиротливо. Некогда на макушке его красовались дубы. Сейчас – проплешина. Оттуда виднелась рудничная узкоколейка за лесом, новые шахты у Отвальной. Конни смотрела как зачарованная. Вот как вторгается мирская суета в покой и уединение леса. Но Клиффорду ничего не сказала.

Плешивый пригорок приводил Клиффорда в необъяснимую ярость. Он прошел войну, повидал всякое, но никогда не ярился так, как при виде этого голого холма. И тут же велел его засадить. А в сердце засела острая неприязнь к отцу.

Неспешно Клиффорд взбирался на своей каталке все выше, лицо у него напряглось и застыло. Одолев кручу, остановился, спуск долг и ухабист, нужно

отдохнуть. Засмотрелся на аллею внизу, четко обозначенную меж побурелыми деревьями. Вон там ее окружили заросли папоротника, дальше – красавцы дубы. У подножия холма дорога заворачивала и терялась из виду. Но сколь изящен и красив этот поворот: вот-вот из-за него появятся рыцари и изящные амазонки.

– По-моему, вот это и есть подлинное сердце Англии, – сказал Клиффорд жене, оглядывая лес в скупых лучах февральского солнца.

– Ты так думаешь? – спросила Конни и села на придорожный пенек, не жалея голубого шерстяного платья.

– Уверен! Это и есть сердце старой Англии, и я его сберегу в целости и сохранности.

– Правильно! – кивнула Конни. С шахты у Отвальной прогудела сирена, – значит, уже одиннадцать часов. Клиффорд вообще не обратил внимания – привык.

– Я хочу, чтоб этот лес стоял нетронутым. Чтоб ничья нога не оскверняла его, – продолжал он.

И впрямь: лес будил воображение. Что-то таинственное и первозданное таил он. Конечно, он пострадал: сэр Джефри вырубил немало деревьев во время войны. Сейчас лес стоял тихий, воздев к небу бесчисленные извилистые ветви. Серые могучие стволы попирали бурно разросшийся папоротник. Покойно и уютно птицам порхать с кроны на крону. А когда-то водились здесь и олени, бродили по чащобе лучники, а по дороге ездили на осликах монахи. И все это лес помнит, помнит и по сей день.

На светлых прямых волосах Клиффорда играло неяркое солнце, на полном румянном лице – печать непроницаемости.

– Здесь мне особо горько, – так недостает сына, – заговорил он.

– Но ведь лес много старше рода Чаттерли.

– Но сохранили его мы. Не будь нас, не было бы уже и леса. Уже сегодня бы ни деревца не осталось. И так от бывшего леса – рожки да ножки. Но ведь нужно

сохранить хоть что-то от Англии былых времен.

– А нужно ли? Ну,охранишь ты старое, а оно новому помешает. Хотя я понимаю тебя: видеть это грустно.

– Если не сохраним ничего от прежней Англии, новой не будет вообще! И сохранять это нам, тем, кто владеет землей, лесами, тем, кому на это не наплевать!

Разговор прервался на грустной ноте.

– Что ж,охранишь на несколько лет, – вздохнула Конни.

– Пусть на несколько лет! Больше нам не по силам. Но с той поры, как мы здесь поселились, я уверен, каждый из нашего рода внес свою малую лепту. Можно противиться условностям, но должно чтить традицию.

И снова Конни откликнулась не сразу.

– О какой традиции ты говоришь? – спросила она.

– О традиции, на которой зиждется Англия! Сохранить все, что нас окружает!

– Теперь поняла, – протянула Конни.

– И будь у меня сын – продолжил бы дело. Все мы – точно звенья одной цепи.

Мысль о звеньях в цепи Конни не понравилась, но она промолчала. Ее удивило, насколько обезличена и абстрактна его тоска по сыну.

– Жаль, что у нас не будет сына, – только и сказала она.

Он пристально посмотрел на нее. Большие голубые глаза не мигали.

– Я бы, пожалуй, даже обрадовался, роди ты от другого мужчины, – сказал он. – Воспитаем ребенка в Рагби, и он станет частичкой нас самих, частичкой Рагби. Я,

вообще-то, не очень придаю значение отцовству. Будет ребенок, мы его вырастим, и он продолжит дело. Как ты думаешь, есть в этом смысл?

Конни наконец подняла глаза и встретила с ним взглядом. Ребенок, ее ребенок, был для Клиффорда лишь «продолжателем дела».

– А как же... с другим мужчиной?

– Разве это важно? Неужто нам обоим не все равно? Был же у тебя любовник в Германии. Ну, и что он значит для тебя сейчас? Почти ничего. Дело-то, по-моему, не во всяких там интрижках, связях, – не они определяют нашу жизнь. Связь кончается, и все, нет ее... нет! Как прошлогоднего снега! А важно лишь то, что неподвластно времени. Мне важна моя жизнь, и все в протяженности и в развитии. А что эти сиюминутные связи? Особенно те, которые держатся не духом, а плотью? Все, как у птичек: раз-два и разлетелись, большего связи и не стоят. Правда, люди порой пытаются придать этим связям значительность. Смешно! А важна общность людей на протяжении всей жизни. Важно жить вместе изо дня в день, а не просто раз-другой переспать. Мы с тобой вместе, что бы с нами ни случилось. Мы уже привыкли друг к другу. А привычка, как я разумею, куда сильнее, нежели всполох страсти. Жизнь тягуча, тяжка и долга, это отнюдь не фейерверк. Постепенно, мало-помалу люди, живя вместе, начинают походить друг на друга, как инструменты, звучащие в унисон, хотя порой это так нелегко. Вот в чем истинная суть брака, а отнюдь не в половой сфере. Точнее, половой сферой брак далеко не исчерпывается. Вот мы с тобой буквально вросли друг в друга за время семейной жизни. И если мы будем из этого исходить, то легко решим и половую проблему, это не сложнее, чем сходить к дантисту и вырвать зуб. Что ж поделать, раз судьба поставила нас в безвыходное положение.

Конни сидела и с изумлением слушала мужа. Она не знала, прав ли он. Ведь у нее есть Микаэлис, и она любила его (или внушила себе, что любит). Связь с ним – словно развлекательная поездка, бегство из страны унылого супружества, построенного долгим, упорным трудом, страданием и долготерпением. Очевидно, человеческой душе необходимо отвлекаться и развлекаться. И грех в этом отказывать. Но беда любой поездки в том, что рано или поздно приходится возвращаться домой.

– Неужели тебе все равно, от кого родится ребенок? – полюбопытствовала она.

– Отчего же? Я доверяю твоему природному чутью и скромности. Ты же ничего не позволишь недостойному человеку.

Она сразу подумала о Микаэлисе! В глазах Клиффорда он самый недостойный.

– Но ведь мужчины и женщины могут по-разному толковать, кто достойный, а кто – нет.

– Вряд ли. Ты очень внимательна ко мне. А мужчина крайне мне неприятный и половины бы этого внимания не получил. Не верю. Тебе характер не позволит.

Конни промолчала. Логика – советчик никудышный, какой с нее спрос.

– И как по-твоему: должна ли я потом тебе все рассказать? – спросила она, украдкой взглянув на мужа.

– Зачем это? Мне лучше ничего не знать... но согласись, мимолетная связь – ничто по сравнению с долгими годами, прожитыми вместе. И не кажется ли тебе, что запросы семейной жизни диктуют и сексуальное поведение? Сейчас важно найти мужчину, раз того требуют обстоятельства. В конце концов, неужели минутный трепет в постели – главное? Может, все-таки главное в жизни – год за годом растить в себе цельную личность? И жить цельной, упорядоченной жизнью. Ибо какой смысл в жизни неупорядоченной? Если личность твоя разрушается без плотских утех, съезди куда-нибудь, потешь себя. Если личность твоя разрушается потому, что не познано материнство, – заведи ребенка. Но и то, и другое – лишь средства, лишь пути к цельной жизни, к вечной гармонии. И мы к ней придем... вместе – правда ведь? Нужно только приспособиться к условиям жизни, так чтоб не повредить, а органично вплести в нашу упорядоченную жизнь. Согласна ты со мной?

Слова Клиффорда изрядно озадачили Конни. Да, конечно, теоретически он прав. Но на деле... Она задумалась о своей «упорядоченной» жизни с Клиффордом и заколебалась. Неужто ее удел – ниточку за ниточкой вплетать всю себя без остатка в жизнь Клиффорда? И так до самой смерти? Неужто ничего иного ей не уготовано?

И так пройдет ее век? Она будет смиренно жить «цельной» жизнью с мужем, сплетая ровный ковер их бытия, лишь изредка вспыхнет ярким цветком какое-

либо увлечение или связь. Но откуда ей знать, как изменятся ее чувства через год? Да и вообще, дано ли это знать кому-нибудь? И возможно ли всегда и во всем соглашаться? Всегда произносить короткое, как вдох, «да». Она словно бабочка на булавке – среди пришпиленных догм и правил «упорядоченной» жизни. Выдернуть все булавки, и пусть летят себе все помехи и препоны стайкой вольных бабочек.

– Да, Клиффорд, я согласна с тобой. Ты прав, насколько я могу понять. Только ведь жизнь может и иначе все повернуть.

– Ну, пока не повернула. Значит, ты согласна?

– Согласна. Честное слово, согласна.

Откуда-то сбоку вдруг появился коричневый спаниель; подняв морду, принялся, коротко и неуверенно взлаял. Быстро и неслышно выступил вслед за псом человек с ружьем, решительно направился было к супругам, но, узнав, остановился. Молча отдал честь и пошел дальше вниз по склону. Это и был новый егерь. Конни даже испугалась, так внезапно и грозно он надвинулся на них с Клиффордом. По крайней мере, ей так показалось – вдруг, откуда ни возмись, ураганом налетела опасность.

Одет был егерь в темно-зеленый плисовый костюм, на ногах гетры, – издавна так одевались все егеря. Смуглое лицо, рыжеватые усы. Взгляд, устремленный вдаль. Вот он проворно сбегает с холма.

– Меллорс! – окликнул его Клиффорд.

Егерь чуть обернулся, козырнул, сразу видно – из солдат.

– Поверните, пожалуйста, мне кресло и подтолкните. Так легче ехать.

Меллорс перекинул ружье через плечо, проворно, но по-кошачьи мягко, без суеты, будто хотел остаться не только неслышным, но и невидимым, взобрался наверх. Чуть выше среднего роста, сухощавый, очевидно, немногословный. На Конни он даже не взглянул, обратив все внимание на кресло.

– Конни, познакомься, это наш новый егерь, Меллорс. Вам ведь, Меллорс, с госпожой еще не приходилось разговаривать?

– Никак нет, сэр, – бесстрастно отрезал он и снял шляпу. Волосы у него оказались густые, темно-русые. Он посмотрел прямо в глаза Конни. Во взгляде не было ни робости, ни любопытства, казалось, он просто оценивал ее внешность. Конни смутилась, чуть склонила голову, он же переложил шляпу в левую руку и ответил легким поклоном, как настоящий джентльмен, однако не произнес ни слова. Так и застыл со шляпой в руке.

– Вы ведь не первый день у нас? – спросила Конни.

– Восемь месяцев, госпожа... ваша милость! – с достоинством поправился он.

– И нравится вам здесь?

Теперь она посмотрела ему прямо в глаза. Он чуть прищурился – насмешливо и дерзко.

– А как же! Спасибо, ваша милость. Я в этих краях вырос. – Он вновь едва заметно поклонился. Надел шляпу и отошел к креслу. Последнее слово он произнес тягуче, подражая местному говору. Может, тоже в насмешку, ведь до этого речь его была чиста. Почти как у образованного человека. Прелюбопытнейший тип – сноровистый и ловкий, любит самостоятельность и обособленность, уверен в себе.

Клиффорд запустил моторчик, Меллорс осторожно повернул кресло и направил его на тропинку, полого сбегавшую в чащу каштанов.

– Моя помощь больше не требуется? – спросил егерь.

– Вы нас все же немного проводите. Вдруг мотор заглохнет; он не очень мощный, на холмы не рассчитан.

Егерь огляделся: потерял из вида собаку; взгляд у него был глубокий, раздумчивый. Спаниель, не спуская глаз с хозяина, вильнул хвостом. На мгновение в глазах Меллорса появилась озорная, дразнящая и вместе нежная

улыбка и потухла. Лицо застыло. Они довольно быстро двинулись под гору. Меллорс придерживал кресло за поручни. Он скорее походил на солдата, нежели на слугу, и чем-то напоминал Томми Дьюкса.

Миновали каштановую рощицу. Конни вдруг припустила вперед, распахнула калитку в парк, подождала, пока мужчины проедут.

Оба взглянули на нее. Клиффорд – неодобрительно, Меллорс – с любопытством и сдержанным удивлением, опять тот же отстраненный, оценивающий взгляд. И в голубых глазах увидела она за нарочитой бесстрастностью боль, и неприкаянность, и непонятную нежность. Почему ж он такой далекий и одинокий?

Проехав калитку, Клиффорд остановил кресло. Слуга же быстро и почтительно вернулся ее запереть.

– Зачем ты бросилась открывать? – спросил Клиффорд; ровный и спокойный тон его выдавал недовольство. – Меллорс сам бы справился.

– Я думала, вы сразу, без задержки поедете.

– Чтоб ты нас потом бегом догоняла?

– Пустяки! Иногда так хочется побегать.

Подошел Меллорс, взялся за кресло, видом своим давая понять, что ничего не слышал. Однако Конни чувствовала: Меллорс все понял. Катить кресло в гору было труднее. Меллорс задышал чаще, приоткрыв рот. Да, сложен он отнюдь не богатырски. Но сколько в этом сухопаром теле жизни, скрытой чувственности. Женским нутром своим угадала это Конни.

Она чуть поотстала. День поскучнел: серая дымка наплзла, окружила и скрыла голубой лоскуток неба, точно под крышкой, – и сразу влажным холодом дохнуло на землю. Наверное, пойдет снег. А пока все кругом так уныло, так серо! Одряхлел весь белый свет!

На пригорке, в начале красной тропинки, ее поджидали мужчины. Клиффорд обернулся.

– Не устала? – спросил он.

– Нет, что ты!

Все-таки она устала. К тому же в душе пробудилось непонятное досадливое томление и недовольство. Клиффорд ничего не заметил. Он вообще был глух и слеп к движениям души. А вот чужой мужчина понял все.

Да, вся жизнь, всё вокруг представлялось Конни дряхлым, а недовольство ее – древнее окрестных холмов.

Вот и дом. Клиффорд подъехал не к крыльцу, а с другой стороны, – там пологий въезд. Проворно перебирая сильными руками, Клиффорд перекинул тело в домашнее низкое кресло-коляску. Конни помогла ему втащить омертвелые ноги.

Егерь стоял навтыжку и ждал, когда его отпустят. Внимательный взгляд его примечал каждую мелочь. Вот Конни подняла неподвижные ноги мужа, и Меллорс побледнел: ему стало страшно. Клиффорд, опершись на руки, поворачивался всем туловищем вслед за Конни к домашнему креслу. Да, Меллорс испугался.

– Спасибо за помощь, – небрежно бросил ему Клиффорд и покатил по коридору в сторону людской.

– Чем еще могу служить? – прозвучал бесстрастный голос егеря, такой иной раз прислышится во сне.

– Больше ничего не нужно. Всего доброго.

– Всего доброго, сэр!

– До свидания, Меллорс. Спасибо, что помогли... Надеюсь, было не очень тяжело, – обернувшись, проговорила Конни вслед егерю, – тот уже выходил.

На мгновение они встретились взглядами. Казалось, что-то пробудилось в Меллорсе, спала пелена отстраненности.

– Что вы! Совсем не тяжело! – быстро ответил он и тут же перешел на небрежный тягучий говорок. – Всего доброго, ваша милость!

За обедом Конни спросила:

– Кто у тебя егерем?

– Меллорс! Ты же его только что видела.

– Я не о том. Откуда он родом?

– Ниоткуда! В Тивершолле и вырос... кажется, в шахтерской семье.

– И сам в шахте работал?

– Нет, по-моему, при шахте, кузнецом. В забой сам не лазил. Он еще до войны два года здесь егерем служил, потом армия. Отец о нем всегда хорошо отзывался. Поэтому я и взял его снова егерем, сам-то он после войны пошел было снова кузнецом на шахту. Я полагаю, мне крупно повезло: найти в здешнем краю хорошего егеря почти невозможно. Ведь он еще и в людях должен толк знать.

– Он не женат?

– Был раньше. Но жена с кем только не гуляла, наконец спуталась с каким-то шахтером из Отвальной, кажется, так по сей день с ним и живет.

– Значит, он совсем один?

– Почти что. У него в деревне мать... и, помнится, был ребенок.

Клиффорд посмотрел на жену. Большие голубые глаза подернулись дымкой. Взгляд вроде бы и живой, но за ним проступала все ближе и ближе – мертвенно-

серая дымка, под стать той, что заволакивает небо над шахтами. Клиффорд смотрел, как всегда, значительно, как всегда, с определенным смыслом, а Конни все виделась эта омертвляющая пелена, обволакивающая сознание мужа. Страшно! Пелена эта, казалось, лишала Клиффорда его особенки, даже ума.

Постепенно ей открылся один из величайших законов человеческой природы. Если человеческой душе нанести разящий удар, от которого пострадает и тело, кажется, что душа – вслед за телом – тоже пойдет на поправку. Увы, так только кажется. Мы просто переносим привычные понятия о теле на душу. Но рана душевная постепенно, изо дня в день, будет мучить все больше. На теле от удара остается синяк, лишь потом нестерпимая боль пронизывает тело, заполняет сознание. И вот когда мы думаем, что поправляемся, что все страшное позади, тогда-то ужасные последствия и напомнят о себе – безжалостно и жестоко.

Так случилось и с Клиффордом. Вроде бы он поправился, вернулся в Рагби, начал писать, обрел уверенность. Казалось, прошлое забыто и к Клиффорду вернулось самообладание. Но шли неспешной чередой годы, и Конни стала замечать, что синяк на зашибленной душе мужа все болезненнее, что он расползается все шире. Долгое время он не напоминал о себе – сразу после удара душа сделалась бесчувственной, – а сейчас страх, точно боль, распространился по всей душе и парализовал ее. Пока еще жив разум, но мертвящий страх не пощадит и психику.

Мертвела душа у Клиффорда, мертвела и у Конни.

И в ее душе поселились страх, и пустота, и равнодушие ко всему на свете. Когда Клиффорд бывал в духе, он все еще блистал великолепием мысли и слова, уверенно строил планы. Как тогда в лесу он предложил ей родить, чтобы у Рагби появился наследник. Но уже на следующий день все его красноречивые доводы увяли, точно палые листья, иссохли, обратились в прах, в ничто, в пустоту, их словно ветром унесло. Не питались эти слова соками подлинной жизни, не таилась в них молодая сила, потому и увяли вмиг. А жизнь, заключенная в сонмищах палых листьев, бесплодна.

Она виделась Конни во всем. Шахтеры Тивершолла поговаривали о забастовке, и Конни казалось, что это вовсе не демонстрация силы, а исподволь вызревавшая боль – кровоподтек со времен войны, достигший поверхности, и – как следствие боли – смуты, недовольства. Глубоко-глубоко угнездилась эта причиненная

войной, бесчеловечной и беззаконной, боль. Сколько лет пройдет, прежде чем сойдет с души и тела человечества этот кровоподтек, разгонит его кровь новых поколений. Но не обойтись и без новой надежды.

Бедняга Конни! За годы в Рагби и ее душу поразили страх: вдруг омертвеет и она. Мужнина «жизнь разума» и ее собственная мало-помалу теряли содержание и смысл. Вся их совместная жизнь, если верить разглагольствованию Клиффорда, строилась на прочной, проверенной годами близости. Но выпадали дни, когда ничего, кроме беспредельной пустоты, Конни не чувствовала. Многословие, одно многословие. Подлинной в ее жизни была лишь пустота под покровом лживых, неискренних слов.

Клиффорд преуспевал – уломал-таки Вертихвостку Удачу! Без пяти минут знаменитость. Книжки уже приносили немалый доход. Повсюду – его фотографии. В одной галерее выставлялся его скульптурный портрет, портреты живописные – в двух других. Из всех новомодных писательских голосов его голос был самым громким. С помощью почти сверхъестественного чутья лет за пять он стал самым известным из молодых «блестящих» умов. Конни, правда, не очень-то понимала, откуда взялся блеск. В уме, конечно, Клиффорду не откажешь. Чуть насмешливо он раскладывал по полочкам человеческие черты, привычки, побуждения, а в конце концов разносил все в пух и прах. Так щенок игриво выхватит поначалу клочок диванной обивки, а потом, глядишь – от дивана рожки да ножки. Разница в том, что у щенка все выходит по детскому недомыслию, у Клиффорда – по непонятной, прямо старицкой твердолобой чванливости. Какая-то роковая мертвящая пустота. Мысль эта далекой, но навязчивой эхом прилетела к Конни из глубины души. Все – суть пустота и мертвечина. И Клиффорд еще этим щеголяет. Да, щеголяет! Именно – щеголяет.

Микаэлис задумал пьесу и в главном герое вывел Клиффорда. Он уже набросал сюжет и написал первый акт. Да, Микаэлис еще больше Клиффорда поднатерел в искусстве щеголять пустотой. У обоих мужчин, лишенных сильных чувств, только и осталась страстишка – повыгоднее показать себя, покрасоваться. А страстью (даже в постели) обделены оба.

Микаэлис отнюдь не гнался за деньгами. Не ставил это во главу угла и Клиффорд. Хотя и не упускал случая заработать, ведь деньги – это знак Удачи! А Удача, Успех – цель как одного, так и другого. И оба тщились показать себя, блеснуть, хоть на минуту стать «властителями дум» толпы.

Удивительно... Как продажные девки, завлекали они Удачу! Но Конни не участвовала в этом, ей неведом был их сладострастный трепет. Ведь даже заигрывание с Удачей пахло мертвечиной. А ведь не сосчитать, сколько раз Микаэлис и Клиффорд бесстыдно предлагали себя Вертихвостке Удаче. И тем не менее все их потуги – тщета и пустота.

О пьесе Микаэлис сообщил Клиффорду в письме. Конни, конечно же, знала о ней намного раньше. Ах, как встрепенулся Клиффорд. Вот еще раз он предстанет во всем блеске чьими-то стараниями и к своей выгоде. И он пригласил Микаэлиса в Рагби читать первый акт.

Микаэлис не заставил себя ждать. Стояло лето, и он явился в светлом костюме, в белых замшевых перчатках, с очень красивыми лиловыми орхидеями для Конни.

Чтение первого акта прошло с большим успехом. Даже Конни была глубоко взволнована до глубины своего естества (если от него хоть что-нибудь осталось). А сам Микаэлис был великолепен – он просто трепетал, сознавая, что заставляет трепетать других, – казался Конни даже красивым. Она вновь узрела в его чертах извечное смирение древней расы, которую более уже ничем не огорчить, не разочаровать, расы, чье осквернение обернулось ее чистотой. Ведь в рьяной, неукротимо-похотливой тяге к своевольной Удаче Микаэлис был искренен и чист. Столь же искренне и чисто запечатлевает африканская маска слоновой кости самые грязные и мерзкие черты.

И объясним его трепет, когда под его чары подпали и Клиффорд и Конни: то был, пожалуй, наивысший триумф в его жизни. Да, он победил, он влюбил в себя супругов. Даже Клиффорда, пусть и ненадолго. Именно – влюбил в себя!

Зато завтра к утру он просто извелся: дерганный, истерзанный сомнениями, руки и в карманах брюк не находят покоя. Конни не пришла к нему ночью... И где ее сейчас искать, он не знал. Кокетка! Так испортила ему праздник!

Он поднялся к ней в гостиную. Она знала, что он придет. Не укрылась от нее и его тревога. Он спросил, что она думает о его пьесе, нравится ли? Как воздух нужна ему похвала, она подстегивала его жалкую, слабенькую страсть, которая, однако, неизмеримо сильнее любого плотского удовольствия. И Конни не жалела восторженных слов, в глубине души зная, что и ее слова мертвы!

– Послушай! – вдруг решился он. – Почему бы нам не зажить честно и чисто? Почему б нам не пожениться?

– Но я замужем! – изумилась Конни, а омертвелая душа ее даже не встрепенулась.

– Пустяки! Он согласится на развод, не сомневайся. Давай поженимся! Мне этого так хочется. Самое лучшее для меня – завести семью и остепениться. Ведь у меня не жизнь, а черт-те что! Я прожигаю жизнь! Послушай, мы ведь созданы друг для друга! Просто идеальная пара! Ну, давай поженимся. Скажи, что, ну что тебе мешает?

Конни все так же изумленно взирала на него, а в душе – пустота. Как похожи все мужчины. Витаят в облаках. Придумают что-нибудь и – раз! – вихрем устремляются ввысь, причем полагают, что и женщины должны следом воспарить.

– Но я замужем, – повторила она, – и Клиффорда не брошу, сам понимаешь.

– Но почему? Почему? – воскликнул он. – Через полгода он забудет о тебе, не заметит даже, что тебя нет рядом. Он вообще никого, кроме собственной персоны, не замечает. Ведь я вижу: тебе от него никакого толку. Он занят только собой.

Конни понимала, что Мик прав. К тому же она чуяла, что он сейчас и не стремится выставить себя благородным.

– А разве не все мужчины заняты только собой? – спросила она.

– Да, пожалуй, в какой-то степени. Мужчина должен состояться, должен проявить себя. Но это еще не самое главное. А главное: будет ли женщине с ним хорошо? Способен ли он ее осчастливить? Если нет, то нечего такому и думать о женщине... – Он замолчал и, как гипнотизер, впери в нее взгляд больших, чуть навывкате, карих глаз. – Я же не сомневаюсь, что способен дать женщине все, что она ни попросит. Я в себе уверен.

– А что именно ты способен дать? – спросила Конни все с тем же изумлением, которое легко принять за восторг. А в душе по-прежнему пусто.

– Да что угодно, черт побери! Что угодно! Завалю платьями, осыплю кольцами, серьгами, ожерельями; любой ночной клуб – к ее услугам! С кем бы ни пожелала познакомиться – пожалуйста! Захочет – пусть прожигает жизнь... или путешествует, и везде ей почет и уважение! Разве этого мало, черт возьми!

Говорил он вдохновенно, почти ликуя; и Конни зачарованно все смотрела и смотрела на него, но душа безмолвствовала. Даже разум не внял радужным посулам. Даже в лице ничего не переменилось, ни один мускул не дрогнул, а раньше Конни бы загорелась. Сейчас же ее сковало какое-то бесчувствие, – нет, не «воспарить» ей вслед за Миком и его мечтой. Она лишь зачарованно-помертвело уставилась на него; правда, почуяла за барьером слов мерзостный запах Вертихвостки Удачи.

А Мик мучился от ее неопределенного молчания. Сидя в кресле, он подался вперед и умоляюще, со слезами на глазах смотрел на Конни. И кто знает, что в нем сейчас преобладало: гордыня ли, требовавшая, чтобы Конни подчинилась, или страх, что она и впрямь уступит его мольбам.

– Мне нужно подумать. Сразу я не могу решить, – сказала она наконец. – По-твоему, Клиффорда можно сбросить со счетов, а по-моему – нет. Вспомни только о его увечье...

– Чушь это все! Если каждый начнет козырять своими невзгодами, я могу козырнуть своим одиночеством. Я всю жизнь одинок! Пожалейте меня, несчастного, ну и далее в том же духе! Чушь! Если нечем больше похвастать, кроме увечий да невзгод... – Он внезапно замолчал, отвернулся, видно было лишь, как сжимаются и разжимаются кулаки в карманах брюк.

Вечером он спросил:

– Ты придешь сегодня ко мне? Я ведь даже не знаю, где твоя спальня.

– Приду! – ответила она.

В ту ночь этот странный мужчина с худеньким телом подростка ласкал Конни как никогда страстно. И все же оргазма одновременно с ним она не достигла. Только потом в ней вдруг разгорелось желание, ее так потянуло к этому детскому, нежному телу. И неистово вверх-вниз заходили бедра, а Мик героически старался сохранить твердость не только духа, но и плоти, отдавшись порыву ее страсти. Наконец, полностью удовлетворившись, постанывая и вскрикивая, она затихла.

Но вот тела их разъялись, Мик отстранился и обиженно, даже чуть насмешливо сказал:

– Ты что же, не умеешь кончить одновременно с мужчиной? Придется научиться! Придется подчиниться!

Слова эти поразили Конни безмерно. Ведь совершенно очевидно, что в постели Мик может удовлетворить женщину, лишь уступив ей инициативу.

– Я тебя не понимаю, – пробормотала она.

– Прекрасно ты все понимаешь! Мучаешь меня часами после того, как я уже кончил. Терплю, стиснув зубы, пока ты своими стараниями удовольствие получаешь.

Нежданно жестокие слова ударили больно. Ведь сейчас ей хорошо, ослепительно хорошо, сейчас она любит его, – к чему же эти слова! В конце концов, она не виновата: он, как почти все нынешние мужчины, кончал, не успев начать. Оттого и приходится женщине брать инициативу.

– А разве тебе не хочется, чтобы и я получила удовольствие? – спросила она.

Он мрачно усмехнулся:

– Хочется? Вот это здорово! По-твоему, мне хочется смиренно лежать стиснув зубы и чтоб ты мной верховодила?!

– Ну, а все-таки? – упорствовала Конни, но Мик не ответил.

– Все вы, женщины, одинаковы. Либо лежите, не шелохнетесь, будто мертвые, либо, когда мужчина уже устал, вдруг разгораетесь и начинаете наяривать, а наш брат знай терпи.

Конни, однако, не вслушивалась, хотя точка зрения мужчины ей в новинку. Ее ошеломило отношение Мика, его необъяснимая жестокость. Разве она в чем виновата?

– Но ведь ты же хочешь, чтобы и я получила удовольствие? – вновь спросила она.

– Разумеется! О чем речь! Но поверь, любому мужчине не очень-то по вкусу, сделав свое дело, еще ждать, пока женщина сама кончит...

Нечасто доставались Конни в жизни столь сокрушительные удары – после таких слов ее чувству не суждено было оправиться. Нельзя сказать, что до этого она души не чаяла в Микаэлисе. Не разбуди он в ней женщину, она б обошлась без него. И прекрасно бы обошлась! Но коль скоро в ней все же проснулась женщина, стоит ли удивляться, что и она хочет получить свое в постели. А получив, питает самые нежные чувства к мужчине (как в эту ночь), можно сказать, любит его, хочет выйти за него замуж.

Пожалуй, Микаэлис нутром почувствовал ее готовность и сам же безжалостно разрушил собственные планы – разом, словно карточный домик. А Конни в ту ночь похоронила свое влечение к этому мужчине, больше для нее не существовал вообще ни один мужчина. Жизни их разъялись, как и тела. Будто и не было никогда Микаэлиса.

Безотрадной чередой потянулись дни. Все пусто и мертво. Лишь однообразное, бесцельное существование; в понятии Клиффорда это и есть «совместная жизнь»: двое долго живут бок о бок в одном доме, и объединяет их привычка.

Пустота! Смириться с тем, что жизнь – это великая пустыня, значит, подойти к самому краю бытия. Великое множество дел малых и важных составляет огромное число – но из одних только нулей.

– Почему в наши дни мужчины и женщины по-настоящему не любят друг друга? – спросила Конни у Томми Дьюкса, – он был для нее вроде прорицателя.

– Вы не правы! С тех пор как придуман род людской, вряд ли мужчины и женщины любили друг друга крепче, чем сейчас. И, добавлю: искреннее. Вот я, к примеру... Мне женщины нравятся куда больше мужчин. Они храбрее, им можно больше довериться.

Конни призадумалась:

– Но вы тем не менее никаких отношений с ними не поддерживаете.

– Разве? А что я сейчас, по-вашему, делаю? Разговариваю с женщиной о самом сокровенном!

– Вот именно – разговариваете...

– Ну, а будь вы мужчиной, удалось бы мне большее, нежели разговор по душам?

– Нет, пожалуй, но ведь женщина...

– Женщина хочет, чтобы ее любили, чтобы с ней говорили и чтобы одновременно сгорали от страсти к ней. Сдается мне, что любовь и страсть – понятия несовместимые.

– Но это же неправильно!

– А вам не кажется, что вода чересчур мокра? Что б ей стать посуше, а? Но она с нашими желаниями не считается. Мне нравятся женщины, я с ними охотно разговариваю, но отнюдь не питаю к ним ни страсти, ни вожделения. Духовное и плотское во мне одновременно не уживутся.

– А по-моему, никакого противоречия не должно быть.

– Допустим, но зачастую в жизни все не так, как должно быть. Я в такие рассуждения не вдаюсь.

Конни снова задумалась.

– Но ведь мужчины умеют и пылко любить, и говорить с женщинами по душам. Не представляю, как можно пылко любить женщину и по-доброму, по-дружески не разговаривать с ней о сокровенном. Не представляю!

– Ну, знаете... – замялся он. – Впрочем, если я начну обобщать, толку будет немного. Я могу ссылаться лишь на собственный опыт. Я люблю женщин, но влечения не испытываю. Мне нравится разговаривать с ними. И в разговоре, с одной стороны – достигаю близости, с другой – отдаляюсь, меня совсем не тянет их целовать. Вот вам и противоречие. Но я, возможно, пример не типичный, скорее исключение из правил. Люблю женщин, но бесстрастно, а тех, кто требует от меня даже жалкого подобия страсти или пытается вовлечь в интрижку, – тех ненавижу.

– И вы об этом не жалеете?

– С чего бы?! Ничуть! Вон, у таких, как Чарли Мей, связей предостаточно. Но я им не завидую. Пошлет мне Судьба желанную женщину – прекрасно! Раз такой нет или, может, я ее пока не встретил, значит, говорю я себе, ты – рыба кровь, и довольствуюсь очень сильной симпатией к некоторым женщинам.

– А я вам симпатична?

– Весьма! Хотя, как видите, нам и в голову не приходит целоваться.

– Воистину! Хотя что ж в самом желании противоестественного?

– Ну, при чем тут это! Я люблю Клиффорда, но что вы скажете, если я брошусь его целовать?

– А разницы вы не видите?

– Собственно, в чем эта разница, взять хотя бы наш пример. Мы люди цивилизованные, половое влечение научились держать в узде, и притом в строгой. Понравится ли вам, если я начну, подобно разнузданным европейцам, хвастать своими «достоинствами»?

– Мне бы стало противно.

– Вот именно! А я – если вообще меня можно отнести к роду мужскому – пока не вижу соответствующую мне женщину и не ахти как страдаю. Потому-то мне хватает просто добрых чувств к женщинам. И никто никогда не заставит меня являть пылкую страсть или изображать ее в постели!

– Что верно, то верно. Но нет ли в этом какой-то ущербности?

– Вы ее чувствуете, я – нет.

– Да, я чувствую, что между мужчинами и женщинами какой-то разлад. Женщина в глазах мужчины потеряла очарование.

– А мужчина – в глазах женщины?

– Почти не потерял, – подумав, честно призналась Конни.

– Оставим всю эту заумь, вернемся к простому и естественному общению, как и подобает разумным существам. И к чертям собачьим всю эту надуманную постельную повинность! Я ее не признаю!

Конни понимала, что Томми Дьюкс прав. Но от его слов почувствовала себя еще более одинокой и беспризорной. Как щепку, крутит и несет ее по каким-то сумрачным водам. Для чего живет она и все вокруг?

То восставала ее молодость. Черствы и мертвы сердца этих мужчин. Все вокруг черство и мертво. Даже на Микаэлиса нет надежды: продаст и предаст женщину. А этим женщина и вовсе не нужна. Никому из них не нужна женщина, даже Микаэлису.

А подонки, которые притворно клянутся в любви, чтобы переспать с женщиной, и того хуже.

Страшно. Но ничего не поделать. Прав Томми: потерял мужчина очарование в глазах женщины. И остается обманывать себя, как обманывала она себя, увлекшись Микаэлисом. Все лучше, чем однообразная, унылая жизнь. Она отчетливо поняла, почему люди приглашают друг друга на вечеринки, почему до одури слушают джаз, почему до упаду танцуют чарльстон. Просто это молодость по-всякому напоминает о себе, а иначе не жизнь – тоска смертная! А вообще-то молодость – ужасная пора. Чувствуешь себя старой, как Мафусаил[15 - Мафусаил – ветхозаветный пророк, прославившийся своим долголетием.], но что-то внутри щекочет, лишает покоя. Что за жизнь ей выпала! И никаких надежд! Она почти жалела, что не уехала с Микаэлисом, тогда б вся ее жизнь потянулась нескончаемой вечеринкой или джазовым концертом. И то лучше, чем маяться и тешить себя праздными мечтаниями, дожидаясь смерти.

Однажды, когда на душе было совсем худо, она отправилась одна в лес, ничего не слыша, не видя вокруг. Ахнул выстрел – она вздрогнула, досадливо поморщилась, но пошла дальше. Потом услышала голоса, и ее передернуло: люди сейчас совсем некстати. Но чуткое ухо поймало и другой звук. Конни насторожилась: плакал ребенок. Она вслушалась: кто-то обижает малыша. Еще больше исполнившись мрачной злобой, она решительно зашагала вниз по скользкой тропе – сейчас обидчика в пух и прах разнесет.

Чуть поодаль, за поворотом она увидела двоих: егеря и маленькую девочку в бордовом пальто и кротовой шапочке, девочка плакала.

– Ну-ка ты, рева-корова, замолчи сейчас же! – сердито прикрикнул мужчина, и девочка заплакала еще громче.

Завидев спешившую к ним разъяренную Констанцию, мужчина спокойно козырнул, лишь побледневшее лицо выдавало гнев.

– В чем дело, почему девочка плачет? – властно спросила Конни, запыхавшись от быстрого шага.

На лице у егеря появилась едва заметная глумливая ухмылка.

– А поди разбери! Спросите у нее сами! – жестко бросил он, нарочито подражая местному говору.

От таких слов Конни побледнела – ей словно пощечину влепили! Ну, нет, она не уступит этому нахалу! И в упор взглянула на егеря, однако решимости в потемневших от гнева синих глазах поубавилось.

– Я спрашиваю у вас! – выпалила она.

Егерь приподнял шляпу, чуть наклонил голову – не то кивок, не то поклон.

– Слушаюсь, ваша милость. Только чего мне говорить-то? – ответил он, опять произнося слова по-местному грубовато.

И вновь замкнулось солдатское его лицо, лишь побледнело с досады.

Конни повернулась к девочке. Была она румяна и черноволоса, лет десяти от роду.

– Ну, что случилось, маленькая? Почему плачешь? – тоном доброй тети спросила Конни. Девочка испугалась и зарыдала еще пуще. Конни заговорила еще мягче: – Ну, ну, не надо, не плачь! Скажи, кто тебя обидел, – как могла нежно проворковала она и, к счастью, нашарила в кармане вязаной кофты монетку. – Давай-ка вытрем слезы. – И она присела рядом с девочкой. – Посмотри-ка, что у меня есть, – держи!

Девочка перестала всхлипывать, хлюпать носом, отняла кулачок от заревавшего лица и смысленным черным глазом зыркнула на монетку. Потом раз-другой всхлипнула и примолкла.

– Ну, а теперь расскажи, из-за чего такие слезы, – снова спросила Конни, положила монетку на пухлую ладошку, девочка сразу зажала ее в кулачок.

– Из-за... из-за киски!

И всхлипнула еще раз, но уже тише.

– Из-за какой киски, радость моя?

После некоторой заминки кулачок с монеткой ткнул в сторону кустов куманики:

– Вон той!

Конни пригляделась. Верно: большая черная окровавленная кошка безжизненно распласталась под кустом.

– Ой! – в ужасе воскликнула она.

– Она, ваша милость, нарушительница границы, – язвительно произнес Меллорс.

Конни сердито взглянула на него:

– Если вы ее при ребенке пристрелили, неудивительно, что девочка плачет! Совсем неудивительно.

Он быстро, но не тая презрения, посмотрел на нее. И опять Конни стыдливо зарделась: никак она снова затеяла скандал, за что ж Меллорсу ее уважать?!

– Как тебя зовут? – игриво обратилась она к девочке. – Неужели не скажешь?

Девочка засопела, потом жеманно пропищала:

– Конни Меллорс!

– Конни Меллорс! Какое у тебя красивое имя! Значит, ты вышла погулять с папой, а он возьми и застрели киску. Но это нехорошая киска.

Девочка взглянула на нее смело и изучающе: что за тетя? Вправду ли такая добрая?

– Я к бабушке приехала.

– Что ты говоришь?! А где же твоя бабушка живет?

– В доме, вот где. – И девчушка махнула рукой в сторону аллеи.

– Вон оно что! И не вернуться ли тебе сейчас к ней, а?

– Вернуться! – Отголоски рыданий дрожью пробежали по детскому телу.

– Хочешь, я провожу тебя? До самого бабушкиного дома. А папе нужно работать. – И повернулась к Меллорсу: – Это ваша дочка?

Он чуть кивнул и снова взял под козырек.

– Надеюсь, вы мне ее доверите?

– Как будет угодно вашей милости.

И снова он посмотрел ей в глаза. Спокойно, испытующе и в то же время независимо. Гордый и очень одинокий мужчина.

– Ты ведь хочешь пойти со мной к бабушке?

– Ага. – Девочка еще раз взглянула на Конни.

Той маленькая тезка не понравилась, – еще под стол пешком ходит, а уже набралась дурного: и притворства, и жеманства. Все же она утерла ей слезы и взяла за руку. Меллорс молча козырнул на прощанье.

– Всего доброго, – попрощалась и Конни.

Путь оказался неблизкий; когда, наконец, они пришли к бабушкиному нарядному домику, Конни-младшая изрядно надоела Конни-старшей. Девочка, точно дрессированная обезьянка, обучена великому множеству мелких хитростей и тем она изрядно гордится.

Дверь в дом была распахнута, там что-то гремело и бряцало. Конни приостановилась, а девочка отпустила ее руку и вбежала в дом:

– Бабуля! Бабуля!

– Никак уже возвернулась?

Бабушка чистила плиту – обычное занятие субботним утром. Она подошла к двери – маленькая сухонькая женщина в просторном фартуке, со щеткой в руке, на носу – сажа.

– Батюшки, кто ж это к нам припожаловал! – ахнула она, увидев за порогом Конни, и поспешно отерла лицо рукой.

– Доброе утро! Девочка плакала, вот я и привела ее домой, – объяснила Конни.

Старушка проворно обернулась к внучке:

– А где ж папка-то твой?

Малышка вцепилась в бабушкину юбку и засопела.

– Он тоже там был, – ответила вместо нее Конни. – Он пристрелил бездомную кошку, а девочка расстроилась.

– Да что же вам такие хлопоты, леди Чаттерли! Спасибо вам, конечно, за доброту, но, право, не стоило это ваших хлопот! Это ж надо! – И старушка снова обратилась к девочке: – Ты ж посмотри! Самой леди Чаттерли с тобой возиться пришлось! Ей-богу, не стоило так хлопотать!

– Какие хлопоты? Просто я прогулялась, – улыбнулась Конни.

– Бог воздаст вам за доброту! Это ж надо ж – плакала! Я так и знала: стоит им за порог выйти, что-нибудь да приключится. Малышка боится его, вот в чем беда-то. Он ей ровно чужой, ну вот как есть чужой; и сдается мне, непросто им будет поладить, ох непросто. Отец-то – большой чудак.

Конни смешалась и промолчала.

– Ба, посмотри-ка, что у меня! – прошептала девочка.

– Надо же, тебе еще и монетку дали! Ой, ваша светлость, балуете вы ее. Ой, балуете! Видишь, внученька, какая леди Чатли добрая! Везет тебе сегодня!

Фамилию Чаттерли старуха выговаривала, как и все местные, проглатывая слог.

– Ох и добра леди Чатли к тебе.

Неизвестно почему Конни засмотрелась на старухин испачканный нос, и та снова машинально провела по нему ладонью, однако сажу не вытерла.

Пора уходить.

– Уж не знаю, как вас и благодарить, леди Чатли! – все частила старуха. – Ну-ка, скажи спасибо леди Чатли! – Это уже внучке.

– Спасибо! – пропищала девочка.

– Вот умница! – засмеялась Конни, попрощалась и пошла прочь, с облегчением расставшись с собеседницами. Занятно, думала она: у такого стройного гордого мужчины – и такая мать, осколочек.

А старуха, лишь Конни вышла за порог, бросилась к зеркальцу на буфете, взглянула на свое лицо и даже ногой топнула с досады:

– Ну, конечно ж! Вся в саже, в этом страшном фартуке! Вот, скажет, раззява!

Конни медленно возвращалась домой в Рагби. Домой... Не подходит это уютное слово к огромной и унылой усадьбе. Когда-то, может, и подходило, да изжило себя, равно измельчали и другие великие слова: любовь, радость, счастье, дом, мать, отец, муж. Поколение Конни просто отказалось от них, и теперь слова эти мертвы, и кладбище их полнится с каждым днем. Ныне дом – это место, где живешь; любовь – сказка для дурачков; радость – лихо отплясанный чарльстон; счастье – слово, придуманное ханжами, чтобы дурачить других; отец – человек, который живет в свое удовольствие; муж – тот, с кем живешь и кого поддерживаешь морально; и наконец, секс, то бишь радости плоти, последнее

из великих слов, – это пузырек в игристом коктейле: поначалу бодрит, а потом – раз! – от хорошего настроения – одни клочки. Сущие лохмотья! Будто вмиг обветшавшая тряпичная кукла.

Оставалось только, упрямо стиснув зубы, терпеть. Даже в этом таилось некое удовольствие. Каждый день, прожитый в этом мертвящем мире, каждый шаг по человеческой пустыне приносил странное и страшное упоение. Да, чему быть, того не миновать! Извечная мудрость – в семейной ли жизни, в любви, замужестве, связи с Микаэлисом: чему быть, того не миновать! И умирая, человек произносит те же слова.

Пожалуй, только с деньгами обстоит иначе. Тягу к ним не усмирить. Деньги, Слава (или Вертихвостка Удача, как ее величает Томми Дьюкс) нужны нам постоянно. Не прикажешь себе: «Смирись!» И десяти минут не проживешь, не имея гроша за душой, – то одно, то другое нужно купить. Вложил деньги в дело – вкладывай еще, иначе дело остановится. Нет денег – и шагу не ступишь! Есть деньги – и больше ничего не нужно. И здесь выходит: чему быть – того не миновать.

Конечно, не твоя вина, что живешь на белом свете. Но раз уж родился, привыкай, что самое насущное – деньги. Без всего остального можно обойтись, ограничить себя. Но не без денег.

Она подумала о Микаэлисе. С ним бы она денег имела предостаточно. Но и это не привлекало. Пусть она не так богата с Клиффордом, но она сама помогает ему зарабатывать деньги. Сама причастна к ним. «Мы с Клиффордом зарабатываем литературой тысячу двести фунтов в год», – прикинула она. «Зарабатываем!» А собственно, на чем? Можно сказать, на ровном месте! Не ахти какой подвиг, чтобы гордиться. А остальное и вовсе суета.

Она брела домой и думала, что вот сейчас они с Клиффордом засядут за новый рассказ. Создадут нечто из ничего. И заработают еще денег. Клиффорд ревниво следил, ставятся ли его рассказы в разряд самых лучших. А Конни было, собственно говоря, наплевать. «Пустые они» – так оценил рассказы ее отец. «Не такие уж пустые, раз тысячу фунтов приносят!» – вот самое краткое и бесспорное возражение.

Когда молод, можно, стиснув зубы, терпеть и ждать, пока деньги начнут притекать из невидимых источников. Все зависит от того, насколько ты влиятелен, насколько сильна твоя воля. Умело направишь мощное излучение своей воли, и к тебе приходят деньги – пустой фетиш, волшебным образом наделенный могуществом, слово, начертанное на клочке бумаги. Так ничто, пустота оборачивается успехом. Ах, Вертихвостка Удача! Уж если и продавать себя, то только ей! Ее можно презирать, даже продаваясь, однако не так уж это и плохо!

У Клиффорда, разумеется, много угнездившихся еще в детском подсознании представлений о «запретном» и о «ценном». Ему непременно хотелось прослыть «очень хорошим» писателем. А «очень хорош» тот, кто в моде. Мало быть просто очень хорошим и удовольствоваться этим. Ведь большинство «очень хороших» опоздало к автобусу удачи. А ведь живешь, в конце концов, только раз, и уж если опоздал на свой автобус, место тебе на обочине, рядом с остальными неудачниками. Конни хотелось провести грядущую зиму в Лондоне вместе с Клиффордом. Ведь они-то на свой автобус не опоздали, могут теперь и немного покрасоваться, прокатившись наверху.

Беда в том, что Клиффорда все больше и больше сковывал душевный паралич, все чаще он замыкался или впадал в безумную тоску. Так напоминала о себе в его сознании давняя боль. Конни хотелось кричать от отчаяния. Что же делать человеку, если у него разлаживается что-то в механизме сознания? Пропади все пропадом! Неужто так и нести свой крест?! Но нельзя ВО ВСЕМ бессовестно предавать!

Порой она сокрушенно плакала, но и в такие минуты говорила себе: дура, что толку слезы лить! Слезами горю не поможешь!

Расставшись с Микаэлисом, она твердо решила: в жизни ей ничего не нужно. Вот самое простое решение неразрешимой в принципе задачи. Что жизнь дает, то и ладно, только бы поскорее, поскорее бежала жизнь: и Клиффорд, и его рассказы, Рагби, дворянство, деньги, слава – пусть все промелькнет поскорее. Любовь, связи, всякие там увлечения, – чтоб как мороженое: лизнул раз-другой – и все! С глаз долой – из сердца вон. А раз из сердца вон, значит, все это ерунда. Половая жизнь в особенности. Ерунда! Заставишь себя так думать – вот и решена неразрешимая задача. И впрямь, секс – что бокал с коктейлем. И то, и другое как ни смакуешь, а быстро кончается; и то, и другое одинаково возбуждает и пьянит.

То ли дело ребенок! С ним связаны чувства куда более сильные. Прежде чем решиться, она тщательно обдумает каждый шаг. Нужно выбрать мужчину. Удивительно! Но на свете нет мужчины, от кого б она хотела родить. От Микаэлиса? Брр! Подумать-то страшно. Скорей она от кролика родит! От Томми Дьюкса? Он очень хорош собой, но трудно представить его отцом, продолжателем рода. Томми словно замкнутый сосуд. А остальные довольно многочисленные знакомцы Клиффорда вызывали отвращение, стоило ей подумать об отцовстве. Кое-кого она, пожалуй, взяла бы в любовники, даже Мика. Но родить ребенка?! Ни за что! Унизительно и омерзительно!

И от этого никуда не уйдешь!

Все ж в уголке души Конни лелеяла мысль о ребенке. Терпение, терпение! Как через сито просеет она мужчин, и старых и молодых, пока наконец найдет подходящего.

«Обыдите пути Иерусалимские и воззрите, и познайте, и поищите на стогнах его, аще обрящете мужа...»[16 - Книга пророка Иеремии, 5:1. (церк. - слав.).] В Иерусалиме при Иисусе Христе невозможно было найти мужчину среди многих и многих тысяч. Но у нее-то запросы меньше. *C'est une autre chose*, совсем другое дело!

Ей подумалось даже, что он непременно будет иностранцем – не англичанином и уж конечно не ирландцем. Настоящий иностранец!

Нужно терпение, и только терпение. Будущей зимой она увезет Клиффорда в Лондон, а еще через год отправит его на юг Франции или Италии. Главное – терпение! Торопиться с ребенком не следует. Дело это ее, и только ее, единственное, что в глубине своей причудливой женской души она считала важным. Уж она-то не польстится на случайного мужчину! Любовника найти можно в любую минуту, а вот отца будущего ребенка... нет, тут нужно терпение и еще раз терпение! Цели столь разнятся! «Обыдите пути Иерусалимские...» Но она ищет не любовь, а всего лишь мужчину. И относиться она к нему хоть с неприязнью – не важно. Главное, чтоб это был мужчина, а отношение – дело десятое! Оно затрагивает совсем иные струнки души.

Накануне прошел уже привычный дождь, и тропинки еще не подсохли – Клиффорду не проехать. А Конни все же пошла погулять. Она гуляла в

одинокости каждый день, больше любила лес, там-то ее никто не потревожит. Кругом – ни души.

Сегодня же Клиффорду вздумалось отправить егерю записку, а мальчонка-посыльный заболел гриппом и не вставал с постели, – в Рагби вечно кто-нибудь да болел гриппом. Конни вызвалась отнести записку.

Воздух напоен влагой и мертвящей тишиной, будто все кругом умирает. Серо, стыло, тихо. Молчат и шахты: они работают неполную неделю, и сегодня – выходной. Кончилась жизнь.

Лес стоит молчаливо и недвижно, лишь редкие крупные капли, шурша, падают с голых ветвей. Затаилась в лесной чаще меж вековых деревьев унылая, безнадежная, сковывающая пустота.

Медленно, как во сне брела Конни по лесу. От него исходила старая-престарая грусть, и душа Конни умиралась как никогда – в жестоком и бездушном мире обыденности. Она любила самую суть старого леса, бессловесно донесенную до нее вековыми деревьями. И сколько силы, сколько жизни таилось в их молчании. Деревья тоже терпеливо выжидают – гордые, неукротимые, исполненные молчаливой силы. Может, они просто ждут, когда наступит конец: их спилят, пни выкорчуют, конец лесу, конец их жизни. А может, их гордое и благородное молчание – так молчат сильные духом – означает нечто иное.

Она вышла к северной оконечности леса, там стоял дом лесничего – мрачноватый, сложенный из темного песчаника – с фронтоном и затейливой печной трубой. В доме, казалось, никто не живет, кругом ни души, тихо. Дверь заперта. Но из трубы тонкой струйкой бежал дымок, а палисадник под окнами ухожен, земля взрыхлена.

Оказавшись здесь, Конни слегка оробела, ей вспомнился взгляд егеря – пытливый и зоркий. Захотелось вообще уйти, – передавать хозяйское распоряжение ох как неловко. Она тихо постучала. Никто не открыл. Заглянула в окно: маленькая угрюмая комнатка, стерегущая свое уединение, – не подходит!

Конни прислушалась: из-за дома доносился не то шелест, не то плеск. Не беда, что не открывают, она не отступится, своего добьется! За домом земля поднималась крутым бугром, так что весь задний двор, окруженный низкой

каменной стеной, оказывался словно в низине. Завернув за угол, Конни остановилась. В двух шагах от нее мылся егерь, не замечая ничего вокруг. Он был по пояс гол, плисовые штаны чуть съехали, открыв крепкие, но сухие бедра. Он нагнулся над бадьей с мыльной водой, окунул голову, мелко потряс ею, прочистил уши, – каждое движение тонких белых рук скупое и точное, так моется бобер. Делал он все сосредоточенно, полностью отрешившись от окружающего. Конни отпрянула, отошла за угол, а потом и совсем – в лес. Она сама не ждала, что увиденное так потрясет ее. Подумаешь, моется мужчина, какая невидаль!

Но именно эта картина поразила ее, сотрясла нечто в самой сокровенной ее глубине. Она увидела белые нежные ягодички, полускрытые неуклюжими штанами, чуть очерченные ребра и позвонки; почувствовала отрешенность и обособленность этого человека, полную обособленность, почувствовала и содрогнулась. Ее просто ослепила чистая нагота человека, замкнувшего и свой одинокий дом, и свою одинокую душу. Ошеломила ее и красота чистого существа. Нет, не плотская красота привлекла ее, даже не собственно красота тела – прекрасного сосуда, а теплый белый свет жизни, горевший в нем. Он-то и выделял очертания сосуда, до которого можно дотронуться.

Да, увиденное потрясло Конни до самых сокровенных глубин и там запечатлелось. А разумом она пыталась отнестись ко всему иронично. Надо же, баню какую устроил во дворе! И мыло, конечно, самое дешевое – желтое, пахучее. А за издевкой появилась досада: с какой стати должна она лицеизреть чей-то немудреный туалет?

Пройдя немного по лесу, она присела на пенек. Мысли путались. Очевидно одно: распоряжение Клиффорда нужно передать, и ничто ее не остановит. Подождет немного, – пусть егерь оденется, только бы не ушел. Судя по всему, он куда-то собирался.

И Конни побрела назад, чутко вслушиваясь. Вот и дом, ничто не изменилось. Залайала собака. Конни постучала, сердце вопреки воле едва не выпрыгивало из груди.

Послышались легкие шаги. Очевидно, егерь спускался со второго этажа. Дверь распахнулась так неожиданно, что Конни вздрогнула. Егерь и сам, видно, смутился, но тотчас же на губах заиграла усмешка.

– А, леди Чаттерли! Проходите, милости прошу!

Говорил и держался он естественно и просто. Конни переступила порог маленькой мрачноватой комнаты.

– Мне всего лишь нужно передать вам поручение сэра Клиффорда, – проговорила она, по обыкновению, тихо, чуть с придыханием.

А мужчина стоял рядом и смотрел. Голубые глаза его примечали все, Конни даже пришлось отвернуть лицо. Какая милая женщина, застенчивость красит ее еще больше, подумал он и с ходу взял инициативу в свои руки.

– Может, присядете? – спросил он, не надеясь на согласие. Дверь оставалась открытой.

– Нет, спасибо. Сэр Клиффорд просил... – И она передала записку, безотчетно глядя ему прямо в глаза. А в них столько тепла, столько доброты, чудесной, теплой доброты, обращенной к женщине просто и естественно.

– Понял, ваша милость, сейчас же займусь.

И враз все в нем переменилось: он посуровел и отдалился, будто скрылся за стеклянной стеной. Пора уходить, но Конни мешкала, беспокоен был ее дух. Она оглядела чистую, уютную, хотя и мрачноватую маленькую гостиную.

– Вы здесь совсем один живете? – спросила она.

– Совсем один, ваша милость.

– А матушка...

– Она – в деревне, у нее там дом.

– И девочка с ней?

– И девочка.

И простое усталое лицо тронула непонятная усмешка. Переменчивое лицо, обманчивое лицо.

Увидев, что Конни недоумевает, он пояснил.

– Не думайте, по субботам мать приходит, прибирает в доме. Со всем остальным сам управляюсь.

Еще раз Конни взглянула на него. Он улыбался глазами, чуть насмешливо, но в голубых озерцах все же осталась теплая доброта. Конни не переставала ему удивляться. Вот он стоит перед ней, в брюках, в шерстяной рубашке, при галстукке, мягкие волосы еще не высохли, лицо бледное и усталое. Угасла улыбка в глазах, но теплота осталась, и проглянуло за ней страдание, – трудная, видно, выпала этому человеку доля. Но вот взгляд подернулся дымкой отчуждения, милой и приятной женщины рядом словно и не бывало.

А Конни хотелось так много ему сказать, но она сдержалась. Лишь взглянула на него и обронила:

– Надеюсь, я не очень помешала вам?

Чуть сощурились глаза в едва приметной усмешке.

– Разве что причесываться. Простите, я без пиджака, но я и не предполагал, кто ко мне постучит. Никто никогда вообще не стучит, а любой непривычный звук пугает.

Он пошел по тропинке впереди, чтобы открыть калитку. Без неуклюжей плисовой куртки, в одной рубашке, он, как и получасом раньше, со спины показался ей худым и чуть сутулым. Но поравнявшись с ним, она почуяла его молодость и задор – и в непокорных светлых вихрах, и в скором взгляде. Лет тридцать семь – тридцать восемь, не больше.

Она зашагала к лесу, чувствуя, что он смотрит вслед. Растревожил он ей душу, против ее воли растревожил.

А егерь, закрывая за собой дверь в доме, думал: «Как же она хороша, как безыскусна! Ей это и самой невдомек».

Конни надивиться не могла на этого человека: не похож он на егеря, вообще на обычного работягу не похож, хотя с местным людом что-то роднило его. Но что-то и выделяло.

– Этот егерь, Меллорс, прелюбопытнейший тип, – сказала она Клиффорду, – прямо как настоящий джентльмен.

– «Прямо как»? – усмехнулся Клиффорд. – Я до сих пор не замечал.

– Нет, что-то в нем все-таки есть, – не сдавалась Конни.

– Он, конечно, славный малый, но я плохо его знаю. Он год как из армии, да и года-то нет. В Индии служил, если не ошибаюсь. Может, там-то и поднабрался манер. Состоял небось при офицере, вот и пообтесался. С солдатами такое случается. Но пользы никакой. Приезжают домой, и все возвращается на круги своя.

Конни пристально посмотрела на Клиффорда и задумалась. Исконно мужнина черта – острое неприятие любого человека из низших сословий, кто пытается встать на ступеньку выше. Черта, присущая всей нынешней знати.

– И все-таки что-то в нем есть, – настаивала Конни.

– По правде говоря, нет! Я не замечал! – И Клиффорд взглянул на нее с любопытством, тревогой и даже подозрением. И она почувствовала: нет, не скажет он ей всей правды. Как не скажет и себе. Ненавистен ему даже намек на чью-то особенность, исключительность. Все должны быть либо на его уровне, либо ниже.

Да, теперешние мужчины скупы на чувства и жалки. Боятся чувств, боятся жизни!

Конни вошла к себе в спальню, разделась и стала разглядывать себя в огромном зеркале, – сколько лет не делала она подобного. Она и сама не знала, что пыталась найти или увидеть в своем отражении, только поставила лампу так, чтобы полностью оказаться на свету.

И ей подумалось – уже в который раз! – сколь хрупко, беззащитно и жалко нагое человеческое тело. Есть в нем какая-то незавершенность.

Говорили, что у нее неплохая фигура, но не по теперешним меркам: слишком округло-женственная, а не новомодная угловато-мальчишечья. Невысокого роста, крепко сбитая, как шотландка, коренастая. Каждое движение исполнено неспешной грации и неги, что часто и принимают за красоту. Кожа с приятной смуглинкой, плечи и бедра округлы и покойны. Наливаться бы этому телу, точно яблоку, ан нет!

Как переспелый плод, теряло оно упругость, кожа – шелковистость. Недостало этому плоду солнца и тепла, оттого и цветом тускл, и соком скуден.

Женственность принесла этому телу лишь разочарование, а мальчишески угловатым, легким, почти прозрачным уже не стать. Вот и потускнело ее тело.

Маленькие неразвитые грудки печально понурились незрелыми грушами. Живот утратил девичью упругую округлость и матовый отлив, с тех пор, как рассталась она со своим немецким другом – уж он-то давал ей любовь плотскую. В ту пору ее молодая плоть жила ожиданием и неповторима была каждая черточка в облике. Сейчас же живот сделался плоским, дряблым. Бедра, некогда верткие, отливавшие матовой белизной, тоже начали терять женственную округлость, пропала их крутизна; зачем же они ей?

Зачем ей вообще тело? И оно хирело, тускнело – ведь роль ему отводилась самая незначительная. Как горевала, как отчаивалась Конни! И было отчего: в двадцать семь лет она – старуха, и нет ни проблеска, ни лучика надежды. Плоть, ее женскую суть забыли, просто отвергли, да, отвергли. И она состарилась. Тела светских львиц были изящны и хрупки, словно фарфоровые статуэтки, благодаря вниманию мужчин. И неважно, что у этих статуэток пусто

внутри. Но ей даже и с ними не сравниться. «Жизнь разума» умертвила ее плоть! И в душе закипела ярость: ее попросту надули!

Она разглядывала в зеркале свою спину, талию, бедра. Да, похудела, и это ее не красит. На поясице набежала складка, когда Конни выгнулась, чтобы увидеть себя со спины. Как от нудной, тяжелой работы. А когда-то там играли веселые ямочки. Ягодицы и длинные выпуклые ляжки утратили шелковистость, отлив и вальяжность. Все в прошлом! Лишь немецкий парень любил ее тело, да и того уж десять лет, как нет в живых. Как летит время! Целых десять лет, как его нет, а ей еще всего двадцать семь. Тогда она даже презирала пробуждающуюся грубоватую чувственность здорового мальчишки. А теперь такой не найти. Нынешние мужчины – как Микаэлис: ласки жалкие, скорые, раз-два – и все. Нет у них здоровой человеческой плоти, что зажигает кровь и молодит душу.

Все ж она решила, что самое красивое у нее – бедра: от долгих ляжек до округлых, недвижно-спокойных ягодиц. Как песчаные дюны: зыбко-податливые, круто заворачивающие вниз. Меж ними еще теплилась жизнь, надежда. Но и сама плоть ее, казалось, стала гаснуть, увядать, так и не распустившись.

Зато спереди жалко на себя смотреть. Грудь и живот начали немного обвисать, так она похудела, усохла телом, состарилась, толком и не пожив. Она подумала о ребенке, которого ей, быть может, придется выносить. А может, она уже и для этого не годится.

Она накинула ночную рубашку, юркнула в постель и горько расплакалась. Горючими слезами изошла досада на Клиффорда, на его тщеславное писательство, на его чванливые разговоры. Досадовала и на других мужчин, подобных ему, кто обманом отобрал у женщины плотские радости.

Это нечестно! Нечестно! Зов обманутой плоти занимался огнем в сердце.

А утром... утром все как и прежде: встала в семь часов, спустилась к Клиффорду – ему нужно помочь во всех интимных отправлениях. Мужчины-слуги в доме не было, а от служанки он отказывался. Муж экономки, знавший Клиффорда еще ребенком, помогал поднимать и переносить его, все остальное делала Конни, причем делала охотно. Хоть это и вменялось ей в обязанность, она рада была помочь всем, что в ее силах.

Если она и отлучалась из Рагби, то на день – на два. Ее подменяла экономка миссис Беттс. С течением времени Клиффорд всякую помощь стал принимать как должное – следствие сколь неизбежное, столь и естественное.

И все же глубоко в душе у Конни все ярче разгоралась обида: с ней поступили нечестно, ее обманули! Обида за свое тело, свою плоть – чувство опасное. Коль скоро оно пробудилось – ему нужен выход, иначе оно жадным пламенем сожрет душу. Бедняга Клиффорд! Он-то ни в чем не виноват. Ему еще горше пришлось в жизни. Участь обоих – лишь частичка всеобщего губительного разлада.

Впрочем, так ли уж он ни в чем не виноват? Он не давал тепла, не давал простого, душевного человеческого общения. Разве нет и этом его вины? Теплоты и задушевности в нем не сыскать, лишь холодная, расчетливая и благовоспитанная рассудочность. Но ведь может мужчина приласкать женщину. Даже в родном отце чувствовала Конни мужчину. Пусть он эгоист, причем вполне сознательный, но даже он способен утешить женщину, согреть мужским теплом.

Нет, Клиффорд не из таких. Равно и все его друзья – внутренне холодные, каждый сам по себе. Душевное тепло для них признак дурного тона. Нужно научиться обходиться без этого, главное – держаться на высоте. И все пойдет как по маслу, если жить среди себе подобных. И можно вести себя холодно и обособленно – вас все равно будут ценить и уважать, и притом держаться на высоте, – до чего ж приятно это сознавать! Но если вы общественной ступенькой выше или ниже – дело совсем иное. Какой смысл держаться на высоте, зная, что вы принадлежите высшему обществу? Да и есть ли у самых высокородных аристократов эта «высота», и не глупый ли фарс само их кичливое поведение? Какой в этом смысл? Все это – бездушная чепуха.

В душе у Конни вызревал протест. Какая польза от ее жизни? Какая польза от ее жертвенного служения Клиффорду? И чему, собственно, она служит? Холодной мужниной гордыне, не ведающей теплоты человеческих отношений. Клиффорд не менее алчен, чем самый низкопородный ростовщик-еврей, только алчет он Удачи, мечтает о том, как бы завлечь ее, эту великую Вертихвостку. И он готов, как гончая, высунув язык, мчаться по пятам Удачи, нимало не смущаясь, что самоуверенно, лишь по рассудку, причислил себя к высшему обществу. Право же, у Микаэлиса больше достоинства и он куда более удачлив. Если присмотреться, Клиффорд – настоящий шут гороховый, а это унижительнее, чем быть нахалом и наглецом.

Уж если выбирать меж Клиффордом и Микаэлисом, от последнего куда больше пользы. Да и она, Конни, нужна ему больше, чем Клиффорду. За обезножевшим калекой любая сиделка сможет присмотреть! Пусть Микаэлис – крыса, но крыса, способная на самоотверженность. Клиффорд же – глупый, кичливый пудель.

В Рагби порой навевались гости, и среди них тетка Клиффорда, Ева, леди Беннерли. Худенькая вдовица лет шестидесяти, с красным носом и повадками светской львицы. Она происходила из знатнейшего рода, но держалась очень просто. Конни полюбила старушку. Та бывала предельно открыта, когда это не противоречило ее намерениям, и внешне добра. Притом она, как, пожалуй, никто, умела держаться на высоте, да так, что всякий в ее присутствии чувствовал себя чуть ниже. Но ни малейшего снобизма в ее поведении не было, лишь безграничная уверенность в себе. Она преуспела в светской забаве: держалась спокойно и с достоинством, незаметно подчиняя остальных своей воле.

К Конни она благоволила и пыталась отомкнуть тайники молодой женской души своим острым, пронизательным великосветским умом.

– По-моему, вы просто кудесница, – восхищенно говорила она Конни. – С Клиффордом вы творите чудеса! На моих глазах распускается, расцветает его великий талант!

Тетушка, будто своим, гордилась успехом Клиффорда. Еще одна славная строка в летописи рода! Сами книги ее совершенно не интересовали. К чему они ей?

– Моей заслуги в этом нет, – ответила Конни.

– А чья ж еще? Ваша, и только ваша. Но сдается мне, вам-то от этого проку мало.

– То есть?

– Ну, посмотрите, вы живете как затворница. Я Клиффорду говорю: «Если в один прекрасный день девочка взропщет, вини только себя».

– Но Клиффорд никогда мне ни в чем не отказывает.

– Вот что, девочка моя милая, – и леди Беннерли положила тонкую руку на плечо Конни, – либо женщина получает от жизни то, что ей положено, либо – запоздалые сожаления об упущенном. Уж поверьте мне! – И она в очередной раз приложила к бокалу с вином. Возможно, именно так она выражала свое сожаление.

– Но разве я мало получаю от жизни?

– По-моему, очень! Клиффорду свозить бы вас в Лондон развеяться. Его круг хорош для него, а вам что дают его друзья? Я б на вашем месте с такой жизнью не смирилась. Пройдет молодость, наступит зрелость, потом старость, и ничего, кроме запоздалых сожалений, у вас не останется. – И ее изрядно выпившая милость замолчала, углубившись в размышления.

Но Конни не хотелось ехать в Лондон, не хотелось, чтобы леди Беннерли выводила ее в свет. Какая она светская дама! Да и скучно все это! Да и чуяла она за добрыми словами мертвящий холодок. Как на полуострове Лабрадор: на земле яркие цветы растут, а копнешь – вечная мерзлота.

В Рагби приехали Томми Дьюкс, и еще один их приятель, Гарри Уинтерслоу, и Джек Стрейнджуэйз с женой Оливией. Болтали о пустяках (ведь только в кругу «закадычных» шел серьезный разговор), плохая погода лишь усугубляла скуку. Можно было лишь поиграть на бильярде да потанцевать под механическое пианино.

Оливия стала рассказывать о книге про будущее, которую читала. Детей будут выращивать в колбах, и женщин обезопасят от беременности.

– Как это замечательно! – восторгалась она. – Женщина наконец сможет жить независимо.

Ее муж хотел детей, она же была против.

– И вы бы захотели «обезопаситься»? – неприятно усмехнувшись, спросил Уинтерслоу.

– Меня, судя по всему, и так природа обезопасила, – ответила Оливия. – Во всяком случае, у грядущих поколений будет побольше здравого смысла и женщине не придется опускаться до своего «природного предназначения».

– Тогда, может, стоит их всех вообще поднять за облака, пусть себе летят подальше, – предложил Дьюкс.

– Думается, достаточно развитая цивилизация упразднит многие несовершенства наших организмов, – заговорил Клиффорд. – Взять, к примеру, любовь – это лишь помеха. Думаю, что она отомрет, раз детей в пробирках будут выращивать.

– Ну уж нет! – воскликнула Оливия. – Любовь будет приносить еще больше радости.

– Случись, любовь отомрет, – раздумчиво сказала леди Беннерли, – непременно будет что-то вместо нее. Может, морфием увлекаться начнут. Представьте: вы дышите воздухом с добавкой морфина. Как это взбодрит!

– А по субботам по указу правительства в воздух добавят эфир – для всеобщего веселья в выходной, – вставил Джек. – Все бы ничего, да только вообразите, какими мы будем в среду.

– Пока способен забыть о теле, ты счастлив, – заявила леди Беннерли. – А напомним оно о себе, и ты несчастнейший из несчастных. Если в цивилизации вообще есть какой-то смысл, она должна помочь нам забыть о теле. И тогда время пролетит незаметно и счастливо.

– Пора нам вообще избавиться от тел, – сказал Уинтерслоу. – Давно уж человеку нужно усовершенствовать себя, особенно физическую оболочку.

– И превратиться в облако, как дымок от сигареты, – улыбнулась Конни.

– Ничего подобного не случится, – заверил их Дьюкс. – Развалится наш балаганчик, только и всего. Цивилизации нашей грозит упадок. И падать ей в бездонную пропасть. Поверьте мне, лишь крепкий фаллос станет мостом к спасению.

– Ах, генерал, докажите! Свершите невозможное! – воскликнула Оливия.

– Погибнет наш мир, – вздохнула тетушка Ева.

– И что же потом? – спросил Клиффорд.

– Понятия не имею, но что-нибудь да будет, – успокоила его старушка.

– Конни предрекает, что люди превратятся в дым, Оливия – что детей станут растить в пробирках, а женщин избавят от тягот, Дьюкс верит, что фаллос станет мостом в будущее. А каким же оно будет на самом деле? – задумчиво проговорил Клиффорд.

– Не ломай голову! С сегодняшним бы днем разобраться! – нетерпеливо бросила Оливия. – побыстрей бы родильную пробирку изобрели да нас, женщин, избавили.

– А вдруг в новой цивилизации будут жить настоящие мужчины, умные, здоровые телом и духом, и красивые, под стать мужчинам, женщины? – предположил Томми. – Ведь они как небо от земли будут отличаться от нас! Разве мы мужчины? И что в женщинах женского? Мы лишь примитивные мыслящие устройства, так сказать, механико-интеллектуальные модели. Но ведь придет время и для подлинных мужчин и женщин, которые сменят нас – кучку болванчиков с умственным развитием дошколят. Вот это было бы воистину удивительно – похлеще, чем люди-облака или пробирочные дети.

– Когда речь заходит о настоящих женщинах, я умолкаю, – прошебетала Оливия.

– Да, в нас ничто не может привлекать, разве только крепость души, – обронил Уинтерслоу.

– Верно, крепость привлекает, – пробормотал Джек и допил виски с содовой.

– Только ли души? А я хочу, чтоб вслед за душой обессмертилось и тело! – потребовал Дьюкс. – Так оно и будет со временем. Когда мы хоть чуточку сдвинем с места нашу рассудочность, откажемся от денег и всякой чепухи. И наступит демократия, но не мелкого своекорыстия, а свободного общения.

«Хочу, чтоб обессмертилось и тело!.. Наступит демократия свободного общения», – вновь и вновь звучало в ушах Конни. Она не понимала толком смысла, но слова эти успокаивали ее душу – так успокаивает журчание воды.

Но до чего ж глупый и нескладный разговор! Конни измаялась от скуки, слушая Клиффорда, тетушку Еву, Оливию и Джека, этого Уинтерслоу. Даже Дьюкс надоел. Слова, слова, слова! Бесконечное и бессмысленное сотрясение воздуха.

Однако, проводив гостей, она не почувствовала облегчения. Размеренно и нудно потянулись часы. Но где-то в животе угнездились досада и тоска, и ничем их не вытравить. Из часов складывались дни, каждый давался ей с необъяснимой тягостью, хотя ничего нового он не приносил. Разве что она все больше и больше худела – это заметила даже экономка и спросила, не больна ли. И Томми Дьюкс уверял, что она нездорова; Конни отнекивалась, говорила, что все в порядке. Только вдруг появился страх перед белыми, как привидения, надгробиями. Мраморной отвратительной белизной они напоминали вставные зубы, – этими жуткими «зубами» утыкано подножье холма у церкви в Тивершолле. Из парка Конни как на ладони была видна эта пугающая картина. Ощерившийся в жуткой гримасе кладбищенский холм вызывал у Конни суеверный страх. Ей казалось, недалек тот день, когда и ее схоронят там, еще один «зуб» вырастет среди надгробий и памятников в этом прокопченном «сердце Англии».

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

Фабианство – движение в общественной жизни Великобритании, пропагандировавшее реформистский путь к социализму; получило свое название в результате основания в 1884 году Фабианского общества, обязанного своим именем римскому полководцу Фабию Максиму Кунктатору (Медлительному); в разное время к идеологии фабианства склонялись такие представители английской культуры, как Джордж Бернард Шоу (1856–1950), Оскар Уайльд (1844–1900), Бертран Рассел (1872–1970). (Здесь и далее – прим. сост.)

2

Имеется в виду группа «Прерафаэлитское братство» – направление в английской поэзии и живописи во второй половине XIX века, образовавшееся в начале 1850-х годов. Название «прерафаэлиты» должно было обозначать духовное родство с флорентийскими художниками эпохи раннего Возрождения.

3

Китченер, Горацій Герберт (1850–1916) – английский военачальник, получивший печальную известность своей жестокостью во время завоевательной акции в Судане (1896), а также англо-бурской войны.

4

Ллойд Джордж, Дэвид (1863–1945) – лидер Либеральной партии, премьер-министр Великобритании в 1916–1922 годах.

5

Методистская церковь — протестантская церковь, главным образом в Великобритании. Возникла в XVIII веке, отделившись от англиканской церкви, требуя последовательного, методического соблюдения религиозных предписаний. Методисты проповедуют религиозное терпение.

6

Девушка легкого поведения (фр.).

7

Дама полусвета (фр.).

8

Евангелие от Матфея, 6: 34.

9

Ренуар, Огюст (1841–1919), Сезанн, Поль (1839–1906) – ведущие представители французского импрессионизма в живописи.

10

Сократ (470–399 гг. до н. э.) – древнегреческий философ, живший в Афинах, учение которого знаменует поворот в философии – от рассмотрения природы и мира к рассмотрению человеческой личности; Платон (427–347 гг. до н. э.) – древнегреческий философ, основоположник идеализма; ученик Сократа, сделал его главным действующим лицом своих «Диалогов».

11

Протагор из Абдеры (480–410 гг. до н. э.) – виднейший представитель философской школы софистов; в конце жизни был изгнан из Афин. Платон назвал его именем один из своих «Диалогов». Широкую известность получила критика софистов у Сократа и его учеников.

12

Алкивиад (ок. 450 – ок. 404 гг. до н. э.) – древнегреческий полководец и политический деятель, в юности – ученик Сократа. На одном из витков своей бурной политической карьеры был обвинен в государственной измене и заочно приговорен к смертной казни.

13

Искаженная цитата из Евангелия от Луки, 6: 44 – «...всякое дерево познается по плоду своему...»

14

Валаамова ослица – согласно ветхозаветному сказанию, внезапно заговори́вшая ослица прорицателя Валаама; в переносном смысле – объект крайнего удивления окружающих. (Числа, 22: 28.)

15

Мафусаил – ветхозаветный пророк, прославившийся своим долголетием.

16

Книга пророка Иеремии, 5:1. (церк. – слав.).

Купить: https://tellnovel.com/lourens_devid/lyubovnik-ledi-chatterli

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)